





Александр ПУШКИН



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2012

УДК 882
ББК 84.2(2Рос-Рус)6-4
П91

Серия основана
в 2007 году

Пушкин А. С.

П91 Полное собрание сочинений в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2012. — 1214 с.: ил. — (Полное собрание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-0094-2

В издание вошли все известные произведения гения русской литературы: стихотворения, поэмы, драматические произведения, проза, сказки, исторические работы.

УДК 882
ББК 84.2(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-9922-0094-2

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2008

СТИХОТВОРЕНИЯ 1814—1822

ЛИЦЕЙСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, ПЕЧАТАВШИЕСЯ ПУШКИНЫМ В ПОЗДНЕЙШИЕ ГОДЫ

ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Навис покров угрюмой ночи
На своде дремлющих небес;
В безмолвной тишине почил дол и рощи,
В седом тумане дальний лес;
Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,
Чуть дышит ветерок, уснувший на листьях,
И тихая луна, как лебедь величавый,
Плывет в серебристых облаках.

С холмов кремнистых водопады
Стекают бисерной рекой,
Там в тихом озере плескаются наяды
Его ленивою волной;
А там в безмолвии огромные чертоги,
На своды опершись, несутся к облакам.
Не здесь ли мирны дни вели земные боги?
Не се ль Минервы русской храм?

Не се ль Элизиум полнощный,
Прекрасный Царскосельский сад,
Где, льва сразив, почил орел России мощный
На лоне мира и отрад?
Промчались навсегда те времена златые,
Когда под скипетром великия жены
Венчалась славою счастливая Россия,
Цветя под кровом тишины!

Здесь каждый шаг в душе рождает
Воспоминанья прежних лет;
Возрев вокруг себя, со вздохом росс вещает:
«Исчезло всё, великой нет!»
И, в думу углублен, над злачными берегами
Сидит в безмолвии, склоня ветрам слух.
Протекшие лета мелькают пред очами,
И в тихом восхищенье дух.

Он видит: окружен волнами,
Над твердой, мшистою скалой

Вознесся памятник. Ширяся крылами,
 Над ним сидит орел молодой.
 И цепи тяжкие и стрелы громовые
 Вкруг грозного столпа трикратно обвились;
 Кругом подножия, шума, валы седые
 В блестящей пене улеглись.

В тени густой угрюмых сосен
 Воздвигся памятник простой.
 О, сколь он для тебя, кагульский брег, поносен!
 И славен родине драгой!
 Бессмертны вы вовек, о росски исполины,
 В боях воспитанны средь бранных непогод!
 О вас, сподвижники, друзья Екатерины,
 Пройдет молва из рода в род.

О, громкий век военных споров,
 Свидетель славы россиян!
 Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
 Потомки грозные славян,
 Перуном Зевсовым победу похищали;
 Их смелым подвигам страхась дивился мир;
 Державин и Петров героям песнь бряцали
 Струнами громозвучных лир.

И ты промчался, незабвенный!
 И вскоре новый век узрел
 И брани новые, и ужасы военные;
 Страдать — есть смертного удел.
 Блеснул кровавый меч в неукротимой длани
 Коварством, дерзостью венчанного царя;
 Восстал вселенной бич — и вскоре новой брани
 Зарделась грозная заря.

И быстрым понеслись потоком
 Враги на русские поля.
 Пред ними мрачна степь лежит во сне глубоком,
 Дымится кровию земля;
 И села мирные, и грады в мгле пылают,
 И небо заревом оделоса вокруг,
 Леса дремучие бегущих укрывают,
 И праздный в поле ржавит плуг.

Идут — их силе нет препоны,
 Всё рушат, всё свергают в прах,
 И тени бледные погибших чад Беллоны,
 В воздушных съединясь полках,
 В могилу мрачную нисходят непрестанно
 Иль бродят по лесам в безмолвии ночи...
 Но клики раздались!.. идут в дали туманной! —
 Звучат кольчуги и мечи!..

Страшись, о рать иноплеменных!
 России двинулись сыны;
 Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных.

Сердца их мщеньем зажжены.
 Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
 Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
 Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
 За Русь, за святость алтаря.

Ретивы кони бранью пышут,
 Усеян ратниками дол,
 За строем строй течет, все мезью, славой дышат,
 Восторг во грудь их перешел.
 Летят на грозный пир; мечам добычи ищут,
 И се — пылает брань; на холмах гром гремит,
 В сгушенном воздухе с мечами стрелы свишут,
 И брызжет кровь на щит.

Сразились. Русский — победитель!
 И вспять бежит надменный галл;
 Но сильного в боях небесный Вседержитель
 Лучом последним увенчал,
 Не здесь его сразил воитель поседелый;
 О бородинские кровавые поля!
 Не вы неистовству и гордости пределы!
 Увы! на башнях галл Кремля!..

Края Москвы, края родные,
 Где на заре цветущих лет
 Часы беспечности я тратил золотые,
 Не зная горести и бед,
 И вы их видели, врагов моей отчизны!
 И вас багрила кровь и пламень пожирал!
 И в жертву не принес я мщенья вам и жизни;
 Вотще лишь гневом дух пылал!..

Где ты, краса Москвы стоголавой,
 Родимой прелесть стороны?
 Где прежде взору град являлся величавый,
 Развалины теперь одни;
 Москва, сколь русскому твой зрак унылый страшен!
 Исчезли здания вельможей и царей,
 Всё пламень истребил. Венцы затмились башен,
 Чертоги пали богачей.

И там, где роскошь обитала
 В сенистых рошах и садах,
 Где мирт благоухал и липа трепетала,
 Там ныне угли, пепел, прах.
 В часы безмолвные прекрасной, летней ночи
 Веселье шумное туда не полетит,
 Не блещут уж в огнях берега и светлы рощи:
 Всё мертво, всё молчит.

Утешься, мать градов России,
 Возри на гибель пришлеца.
 Отяготела днесь на их надменны выи
 Десница мстящая Творца.

Взгляни: они бегут, озреться не дерзают,
 Их кровь не престаёт в снегах реками течь;
 Бегут — и в тьме ночной их глад и смерть сретают,
 А с тыла гонит русский меч.

О вы, которых трепетали
 Европы сильны племена,
 О галлы хищные! и вы в могилы пали.
 О страх! о грозны времена!
 Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны,
 Презревший правды глас, и веру, и закон,
 В гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны?
 Исчез, как утром страшный сон!

В Париже росс! — где факел мщенья?
 Поникни, Галлия, главой.
 Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья
 Грядет с оливою златой.
 Еще военный гром грохочет в отдаленье,
 Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,
 А он — несёт врагу не гибель, но спасенье
 И благотворный мир земле.

О скальд России вдохновенный,
 Воспевший ратных грозный строй,
 В кругу товарищей, с душой воспламененной,
 Греми на арфе золотой!
 Да снова стройный глас героям в честь прольется,
 И струны гордые посыпят огонь в сердца,
 И ратник молодой вскипит и содрогнется
 При звуках бранного певца.

ЛИЦИНИЮ

Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице,
 Венчанный лаврами, в блестящей багрянице,
 Спесиво развалясь, Ветулий молодой
 В толпу народную летит по мостовой?
 Смотри, как все пред ним смиренно спину клонят;
 Смотри, как ликторы народ несчастный гонят!
 Лъстецов, сенаторов, прелестниц длинный ряд
 Умилно вслед за ним стремится усердный взгляд;
 Ждут, ловят с трепетом улыбки, глаз движенья,
 Как будто дивного богов благословенья;
 И дети малые и старцы в седилах,
 Все ниц пред идолом безмолвно пали в прах:
 Для них и след колес, в грязи напечатленный,
 Есть некий памятник почетный и священный.

О Ромулов народ, скажи, давно ль ты пал?
 Кто вас поработил и властью оковал?
 Квириты гордые под иго преклонились.
 Кому ж, о небеса, кому поработились?
 (Скажу ль?) Ветулию! Отчизне стыд моей,
 Развратный юноша воссел в совет мужей;

Любимец деспота сенатом слабым правит,
 На Рим простер ярем, отечество бесславит;
 Ветулий римлян царь!.. О стыд, о времена!
 Или вселенная на гибель предана?

Но кто под портиком, с поникшею главою,
 В изорванном плаще, с дорожною клюкою,
 Сквозь шумную толпу нахмуренный идет?
 «Куда ты, наш мудрец, друг истины, Дамет!»
 — «Куда — не знаю сам; давно молчу и вижу;
 Навек оставлю Рим: я рабство ненавижу».

Лициний, добрый друг! Не лучше ли и нам,
 Смиренно поклонясь Фортуне и мечтам,
 Седого циника примером научиться?
 С развратным городом не лучше ль нам проститься,
 Где всё продажное: законы, правота,
 И консул, и трибун, и честь, и красота?
 Пускай Глицерия, красавица младая,
 Равно всем общая, как чаша круговая,
 Неопытность других в наемну ловит сеть!
 Нам стыдно слабости с морщинами иметь;
 Тщеславной юности оставим блеск веселий:
 Пускай бесстыдный Клит, слуга вельмож Корнелий
 Торгуют подлостью и с дерзостным челом
 От знатных к богачам ползут из дома в дом!
 Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода;
 Во мне не дремлет дух великого народа.
 Лициний, поспешим далеко от забот,
 Безумных мудрецов, обманчивых красот!
 Завистливой судьбы в душе презрев удары,
 В деревню пренесем отеческие лары!
 В прохладе древних рощ, на берегу морском,
 Найти нетрудно нам укромный, светлый дом,
 Где, больше не страшась народного волненья,
 Под старость отдохнем в глуши уединенья,
 И там, расположась в уютном уголке,
 При дубе пламенном, возженном в камельке,
 Воспомнив старину за дедовским фиалом,
 Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом,
 В сатире праведной порок изображу
 И нравы сих веков потомству обнажу.

О Рим, о гордый край разврата, злодеянья!
 Придет ужасный день, день мщенья, наказания.
 Предвижу грозного величия конец:
 Падет, падет во прах вселенная венец.
 Народы юные, сыны свирепой брани,
 С мечами на тебя подымут мощны длани,
 И горы и моря оставят за собой
 И хлынут на тебя кипящею рекой.
 Исчезнет Рим; его покроет мрак глубокий;
 И путник, устремив на груды камней око,
 Воскликнет, в мрачное раздумье углублен:
 «Свободой Рим возрос, а рабством погублен».

СТАРИК

Уж я не тот любовник страстный,
 Кому дивился прежде свет:
 Моя весна и лето красно
 Навек прошли, пропал и след.
 Амур, бог возраста молодого!
 Я твой служитель верный был;
 Ах, если б мог родиться снова,
 Уж так ли б я тебе служил!

РОЗА

Где наша роза,
 Друзья мои?
 Увяла роза,
 Дитя зари.
 Не говори:
 Так вянет младость!
 Не говори:
 Вот жизни радость!
 Цветку скажи:
 Прости, жалею!
 И на лилею
 Нам укажи.

ГРОБ АНАКРЕОНА

Всё в таинственном молчанье;
 Холм оделся темной;
 Ходит в облачном сиянье
 Полумесяц молодой.
 Вижу: лира над могилой
 Дремлет в сладкой тишине;
 Лишь порою звон унылый,
 Будто лени голос милый,
 В мертвой слышится струне.
 Вижу: горлица на лире,
 В розах кубок и венец...
 Други, здесь почует в мире
 Сладострастия мудрец.
 Посмотрите: на порфире
 Оживил его резец!
 Здесь он в зеркало глядится,
 Говоря: «Я сед и стар,
 Жизнью дайте ж насладиться;
 Жизнь, увы, не вечный дар!»
 Здесь, подняв на лиру длани
 И нахмуря важно бровь,
 Хочет петь он бога брани,
 Но поет одну любовь.
 Здесь готовится природе
 Долг последний заплатить:
 Старец пляшет в хороводе,
 Жажду просит утолить.
 Вкруг любовника седого
 Девы скачут и поют;

Он у времени скупого
 Крадет несколько минут.
 Вот и музыки, и хариты
 В гроб любимца увели;
 Плющем, розами увиты,
 Игры вслед за ним пошли...
 Он исчез, как наслажденье,
 Как веселый сон любви.
 Смертный, век твой привиденье:
 Счастье резвое лови;
 Наслаждайся, наслаждайся;
 Чаше кубок наливай;
 Страстью пылкой утомляйся
 И за чашей отдыхай!

ПЕВЕЦ

Слышали ль вы за рощей глас ночной
 Певца любви, певца своей печали?
 Когда поля в час утренний молчали,
 Свирели звук унылый и простой
 Слышали ль вы?

Встречали ль вы в пустынной тьме лесной
 Певца любви, певца своей печали?
 Следы ли слез, улыбку ль замечали,
 Иль тихий взор, исполненный тоской,
 Встречали вы?

Вздохнули ль вы, внимая тихий глас
 Певца любви, певца своей печали?
 Когда в лесах вы юношу видали,
 Встречая взор его потухших глаз,
 Вздохнули ль вы?

К МОРФЕЮ

Морфей, до утра дай отраду
 Моей мучительной любви.
 Приди, задуй мою лампаду,
 Мои мечты благослови!
 Сокрой от памяти унылой
 Разлуки страшный приговор!
 Пускай увижу милый взор,
 Пускай услышу голос милый.
 Когда ж умчится ночи мгла
 И ты мои покинешь очи,
 О, если бы душа могла
 Забыть любовь до новой ночи!

ДРУЗЬЯМ

Богами вам еще даны
 Златые дни, златые ночи,
 И томных дев устремлены
 На вас внимательные очи.

Играйте, пойте, о друзья!
 Утратьте вечер скоротечный;
 И вашей радости беспечной
 Сквозь слезы улыбнуся я.

АМУР И ГИМЕНЕЙ

Сегодня, добрые мужья,
 Повесело вас новой сказкой.
 Знали ли вы, мои друзья,
 Слепого мальчика с повязкой?
 Слепого?.. Вот? Помилуй, Феб!
 Амур совсем, друзья, не слеп:
 Но шалуну пришла ж охота,
 Чтоб, людям на смех и назло,
 Его безумие вело.
 Безумие ведет Эрота:
 Но вдруг, не знаю почему,
 Оно наскучило ему.
 Взялся за новую затею:
 Повязку с милых сняв очей,
 Идет проказник к Гименею...
 А что такое Гименей?
 Он сын Вулкана молчаливый,
 Холодный, дряхлый и ленивый,
 Ворчит и дремлет целый век,
 А впрочем, добрый человек,
 Да нрав имеет он ревнивый.
 От ревности печальный бог
 Спокойно подремать не мог;
 Всё трусил маленького брата,
 За ним подсматривал тайком
 И караулил супостата
 С своим докучным фонарем.
 Вот мальчик мой к нему подходит
 И речь коварную заводит:
 «Развеселися, Гименей!
 Ну, помиримся, будь умней!
 Забудь, товарищ мой любезный,
 Раздор смешной и бесполезный!
 Да только навсегда, смотри!
 Возьми ж повязку в память, милый,
 А мне фонарь свой подари!»
 И что ж? Поверил бог унылый.
 Амур от радости прыгнул,
 И на глаза со всей он силы
 Обнову брату затянул.
 Гимена скучные дозоры
 С тех пор пресеклись по ночам;
 Его завистливые взоры
 Теперь не страшны красотам;
 Спокоен он, но брат коварный,
 Шутя над честью и над ним,
 Войну ведет неблагодарный
 С своим союзником слепым.

Лишь сон на смертных налетает,
 Амур в молчании ночном
 Фонарь любовнику вручает
 И сам счастливица провожает
 К уснувшему супругу в дом;
 Сам от беспечного Гимена
 Он охраняет тайну дверь...
 Пойми меня, мой друг Елена,
 И мудрой повести поверь!

ШИШКОВУ

Шалун, увенчанный Эратой и Венерой,
 Ты ль узника манишь в владения свои,
 В поместье мирное меж Пиндом и Цитерой,
 Где нежился Тибулл, Мелецкий и Парни?
 Тебе, балованный питомец Аполлона,
 С их лирой соглашать игривую свирель:
 Веселье резвое и нимфы Геликона
 Твою счастливую качали колыбель,
 Друзей любить открытою душою,
 В молчанье чувствовать, пленяться красотой —
 Вот жребий мой; ему я следовать готов,
 Но, милый, сжался надо мною,
 Не требуй от меня стихов!
 Не вечно нежиться в приятном ослепленье:
 Докучной истины я поздний вижу свет.
 По доброте души я верил в упоенье
 Мечте, шепнувшей: ты поэт, —
 И, презря мудрые угрозы и советы,
 С небрежной леностью нанизывал куплеты,
 Игрушкою себя невинной веселил;
 Угодник Бахуса, я, трезвый меж друзьями,
 Бывало, пел вино водяными стихами;
 Мечтательных Дорид и славил и бранил,
 Иль дружбе плел венок, и дружество зевало
 И сонные стихи впросонках величало.
 Но долго ли меня лелеял Аполлон?
 Душе наскучили парнасские забавы;
 Не долго снились мне мечтанья муз и славы;
 И, строгим опытом невольно пробужден,
 Уснув меж розами, на тернах я проснулся,
 Увидел, что еще не гения печать —
 Охота смертная на рифмах лепетать,
 Сравнив стихи твои с моими, улыбнулся:
 И полно мне писать.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Мечты, мечты,
 Где ваша сладость?
 Где ты, где ты,
 Ночная радость?
 Исчезнул он,
 Веселый сон,
 И одинокий

Во тьме глубокой
 Я пробужден.
 Кругом постели
 Немая ночь.
 Вмиг охладели,
 Вмиг улетели
 Толпою прочь
 Любви мечтанья.
 Еще полна
 Душа желанья
 И ловит сна
 Воспоминанья.
 Любовь, любовь,
 Внемли моления:
 Пошли мне вновь
 Свои виденья,
 И поутру,
 Вновь упоенный,
 Пускай умру
 Непробужденный.

ЛЮБОПЫТНЫЙ

— Что ж нового? «Ей-богу, ничего».
 — Эй, не хитри: ты, верно, что-то знаешь.
 Не стыдно ли, от друга своего,
 Как от врага, ты вечно всё скрываешь.
 Иль ты сердит: помилуй, брат, за что?
 Не будь упрям: скажи ты мне хоть слово...
 «Ох! отвяжись, я знаю только то,
 Что ты дурак, да это уж не ново».

ДЕЛЬВИГУ

Любовью, дружеством и ленью
 Укрытый от забот и бед,
 Живи под их надежной сенью;
 В уединении ты счастлив: ты поэт.
 Наперснику богов не страшны бури злые:
 Над ним их промысел высокий и святой;
 Его баюкают камни молодые
 И с перстом на устах хранят его покой.
 О милый друг, и мне богини песнопенья
 Еще в младенческую грудь
 Влияли искру вдохновенья
 И тайный указали путь:
 Я лирных звуков наслажденья
 Младенцем чувствовать умел,
 И лира стала мой удел.
 Но где же вы, минуты упоенья,
 Незыяснимый сердца жар,
 Одушевленный труд и слезы вдохновенья!
 Как дым исчез мой легкий дар.
 Как рано зависти привлек я взор кровавый
 И злобной клеветы невидимый кинжал!
 Нет, нет, ни счастьем, ни славой,

Ни гордой жаждою похвал
 Не буду увлечен! В бездействии счастливым
 Забуду милых муз, мучительниц моих;
 Но, может быть, вздохну в восторге молчаливом,
 Внимая звуку струн твоих.

К КАВЕРИНУ

Забудь, любезный мой Каверин,
 Минутной резвости нескромные стихи.
 Люблю я первый, будь уверен,
 Твои счастливые грехи.
 Всё чередой идет определенной,
 Всему пора, всему свой миг;
 Смешон и ветреный старик,
 Смешон и юноша степенный.
 Пока живется нам, живи,
 Гуляй в мое воспоминанье;
 Молись и Вакху и любви
 И черни презирай ревнивое роптанье;
 Она не ведает, что дружно можно жить
 С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;
 Что ум высокий можно скрыть
 Безумной шалости под легким покрывалом.

В. Л. ПУШКИНУ

Что восхитительней, живей
 Войны, сражений и пожаров,
 Кровавых и пустых полей,
 Бивака, рыцарских ударов?
 И что завидней кратких дней
 Не слишком мудрых усачей,
 Но сердцем истинных гусаров?
 Они живут в своих шатрах,
 Вдали забав, и нег, и граций,
 Как жил бессмертный трус Гораций
 В тибурских сумрачных лесах;
 Не знают света принужденья,
 Не ведают, что скука, страх;
 Дают обеды и сраженья,
 Поют и рубятся в боях.
 Счастлив, кто мил и страшен миру;
 О ком за песни, за дела
 Гремит правдивая хвала;
 Кто славил Марса и Темиру
 И бранную повесил лиру
 Меж верной сабли и седла!

РАЗЛУКА

В последний раз, в сени уединенья,
 Моим стихам внимает наш пенат.
 Лицейской жизни милый брат,
 Делю с тобой последние мгновенья.
 Прошли лета соединенья;

Разорван он, наш верный круг.
 Прости! Хранимый небом,
 Не разлучайся, милый друг,
 С свободою и Фебом!
 Узнай любовь, неведомую мне,
 Любовь надежд, восторгов, упоенья:
 И дни твои полетом сновиденья
 Да пролетят в счастливой тишине!
 Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
 При мирных ли берегах родимого ручья,
 Святому братству верен я.
 И пусть (услышит ли судьба мои молитвы?),
 Пусть будут счастливы все, все твои друзья!

1817—1822

1817 (после Лицея)

* * *

Простите, верные дубравы!
 Прости, беспечный мир полей,
 И легкокрылые забавы
 Столь быстро улетевших дней!
 Прости, Тригорское, где радость
 Меня встречала столько раз!
 На то ль узнал я вашу сладость,
 Чтоб навсегда покинуть вас?
 От вас беру воспоминанье,
 А сердце оставляю вам.
 Быть может (сладкое мечтанье!),
 Я к вашим возвращусь полям,
 Приду под липовые своды,
 На скат тригорского холма,
 Поклонник дружеской свободы,
 Веселья, граций и ума.

К ОГАРОВОЙ, КОТОРОЙ МИТРОПОЛИТ ПРИСЛАЛ ПЛОДОВ ИЗ СВОЕГО САДУ

Митрополит, хвастун бесстыдный,
 Тебе прислав своих плодов,
 Хотел уверить нас, как видно,
 Что сам он бог своих садов.

Возможно всё тебе — харита
 Улыбкой дряхлость победит,
 С ума сведет митрополита
 И пыл желаний в нем родит.

И он, твой встретив взор волшебный,
 Забудет о своем кресте

И нежно станет петь молебны
Твоей небесной красоте.

ТУРГЕНЕВУ

Тургенев, верный покровитель
Попов, евреев и скопцов,
Но слишком счастливый гонитель
И езуитов, и глупцов,
И лениости моей бесплодной,
Всегда беспечной и свободной,
Подруги благотворных снов!
К чему смеяться надо мною,
Когда я слабою рукою
На лире с трепетом брожу
И лишь изнеженные звуки
Любви, сей милой сердцу муки,
В струнах незвонких нахожу?
Душой предавшись наслажденью,
Я сладко, сладко задремал.
Один лишь ты с глубокой ленью
К трудам охоту сочетал;
Один лишь ты, любовник страстный
И Соломирской, и креста¹,
То ночью прыгаешь с прекрасной,
То проповедуешь Христа.
На свадьбах и в Библейской зале,
Среди веселий и забот,
Роняешь Лунину на бале,
Подъемлешь трепетных сирот;
Ленивец милый на Парнасе,
Забыв любви своей печаль,
С улыбкой дремлешь в Арзамасе
И спишь у графа де Лаваль;
Нося мучительное бремя
Пустых иль тяжких должностей,
Один лишь ты находишь время
Смеяться лениости моей.

Не вызывай меня ты боле
К навек оставленным трудам,
Ни к поэтической неволе,
Ни к обработанным стихам.
Что нужды, если и с ошибкой
И слабо иногда пою?
Пускай Нинета лишь улыбкой
Любовь беспечную мою
Воспламенит и успокоит!
А труд и холоден и пуст;
Поэма никогда не стоит
Улыбки сладострастных уст.

¹ Креста, сиречь не Анненского и не Владимирского — а *цестнаго* и животворящего.

К ***

Не спрашивай, зачем унылой думой
Среди забав я часто омрачен,
Зачем на всё поднимаю взор угрюмый,
Зачем не мил мне сладкой жизни сон;

Не спрашивай, зачем душой остылой
Я разлюбил веселую любовь
И никого не называю *милой* —
Кто разлюбил, уж не полюбит вновь;

Кто счастье знал, уж не узнает счастья.
На краткий миг блаженство нам дано:
От юности, от нег и сладострастья
Останется уныние одно...

* * *

Краев чужих неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель,
Я говорил: в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно свободной?
Где женщина — не с хладной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой?
Где разговор найду непринужденный,
Блистательный, веселый, просвещенный?
С кем можно быть не хладным, не пустым?
Отечество почти я ненавидел —
Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с отечеством моим.

К НЕЙ

В печальной праздности я лиру забывал,
Воображение в мечтах не разгоралось,
С дарами юности мой гений отлетал,
И сердце медленно хладело, закрывалось.
Вас вновь я призывал, о дни моей весны,
Вы, пролетевшие под сенью тишины,
Дни дружества, любви, надежд и грусти нежной,
Когда, поэзии поклонник безмятежный,
На лире счастливой я тихо воспевал
Волнение любви, уныние разлуки —
И гул дубрав горам передавал
Мои задумчивые звуки...

Напрасно! Я влачил постыдной лени груз,
В дремоту хладную невольно погружался,
Бежал от радостей, бежал от милых муз
И — слезы на глазах — со славою прощался!
Но вдруг, как молнии стрела,
Зажглась в увядшем сердце младость,
Душа проснулась, ожила,
Узнала вновь любви надежду, скорбь и радость.
Всё снова расцвело! Я жизнью трепетал;

Природы вновь восторженный свидетель,
 Живее чувствовал, свободнее дышал,
 Сильней пленяла добродетель...
 Хвала любви, хвала богам!
 Вновь лиры сладостной раздался голос юный,
 И с звонким трепетом воскреснувшие струны
 Несу к твоим ногам!..

ВОЛЬНОСТЬ

ОДА

Беги, сокройся от очей,
 Цитеры слабая царица!
 Где ты, где ты, гроза царей,
 Свободы гордая певица?
 Приди, сорви с меня венок,
 Разбей изнеженную лиру...
 Хочу воспеть свободу миру,
 На тронах поразить порок.

Открой мне благородный след
 Того возвышенного галла,
 Кому сама среди славных бед
 Ты гимны смелые внушала.
 Питомцы ветреной судьбы,
 Тираны мира! трепещите!
 А вы, мужайтесь и внемлите,
 Восстаньте, падшие рабы!

Увы! куда ни брошу взор —
 Везде бичи, везде железы,
 Законов гибельный позор,
 Невольи немощные слезы;
 Везде неправедная власть
 В сгущенной мгле предрассуждений
 Воссела — рабства грозный гений
 И Славы роковая страсть.

Лишь там над царскою главой
 Народов не легло страданье,
 Где крепко с вольностью святой
 Законов мощных сочетанье;
 Где всем простерт их твердый щит,
 Где сжатый верными руками
 Граждан над равными главами
 Их меч без выбора скользит

И преступленье свысока
 Сражает праведным размахом;
 Где не подкупна их рука
 Ни алчной скупостью, ни страхом.
 Владыки! вам венец и трон
 Дает закон — а не природа;
 Стоите выше вы народа,
 Но вечный выше вас закон.

И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно!
Тебя в свидетели зову,
О мученик ошибок славных,
За предков в шуме бурь недавних
Сложивший царскую главу.

Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства,
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе вероломства.
Молчит закон — народ молчит,
Падет преступная секира...
И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу.
Читают на твоём челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле.

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец —

И слышит Клии страшный глас
За сими страшными стенами,
Калигулы последний час
Он видит живо пред очами,
Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наемной...
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

И днесь учитесь, о цари:
 Ни наказанья, ни награды,
 Ни кров темниц, ни алтари
 Не верные для вас ограды.
 Склонитесь первые главой
 Под сень надежную Закона,
 И станут вечной стражей трона
 Народов вольность и покой.

КРИВЦОВУ

Не пугай нас, милый друг,
 Гроба близким новосельем:
 Право, нам таким бездельем
 Заниматься недосуг.
 Пусть остылой жизни чашу
 Тянет медленно другой;
 Мы ж утратим юность нашу
 Вместе с жизнью дорогой;
 Каждый у своей гробницы
 Мы присядем на порог;
 У пафосския царицы
 Свежий выпросим венок,
 Лишний миг у верной лени,
 Круговой нальем сосуд —
 И толпою наши тени
 К тихой Лете убегут.
 Смертный миг наш будет светел;
 И подруги шалунов
 Соберут их легкий пепел
 В урны праздные пиров.

* * *

Есть в России город Луга
 Петербургского округа;
 Хуже не было б сего
 Городишки на примете,
 Если б не было на свете
 Новоржева моего.

1818

ТОРЖЕСТВО ВАКХА

Откуда чудный шум, неистовые клики?
 Кого, куда зовут и бубны и тимпан?
 Что значат радостные лики
 И песни поселян?
 В их круге светлая свобода
 Прияла праздничный венок.
 Но двинулись толпы народа...
 Он приближается... Вот он, вот сильный бог!
 Вот Бахус мирный, вечно юный!
 Вот он, вот Индии герой!

О радость! Полные тобой
 Дрожат, готовы грянуть струны
 Не лицемерною хвалой!..

Эван, эвое! Дайте чаши!
 Несите свежие венцы!
 Невольники, где тирсы наши?
 Бежим на мирный бой, отважные бойцы!
 Вот он! вот Вакх! О час отрадный!
 Державный тирс в его руках;
 Венец желтеет виноградный
 В чернокудрявых волосах...
 Течет. Его младые тигры
 С покорной яростью влекут;
 Кругом летят эроты, игры —
 И гимны в честь ему поют.
 За ним теснится козлоногий
 И фавнов и сатиров рой,
 Плющом опутаны их роги;
 Бегут смятенною толпой
 Вослед за быстрой колесницей,
 Кто с тростниковою цевницей,
 Кто с верной кружкой своей;
 Тот, оступившись, упадает
 И бархатный ковер полей
 Вином багровым обливает
 При диком хохоте друзей.
 Там дале вижу дивный ход!
 Звучат веселые тимпаны;
 Младые нимфы и сильваны,
 Составя шумный хоровод,
 Несут недвижимого Силена...
 Вино струится, брызжет пена,
 И розы сыплются кругом;
 Несут за спящим стариком
 И тирс, символ победы мирной,
 И кубок тяжко-золотой,
 Венчанный крышкою сапфирной, —
 Подарок Вакха дорогой.

Но воеет берег отдаленный.
 Власы раскинув по плечам,
 Венчанны гроздем, обнаженны,
 Бегут вакханки по горам.
 Тимпаны звонкие, кружась меж их перстами,
 Гремят — и вторят их ужасным голосам.
 Промчались, летят, свиваются руками,
 Волшебной пляской топчут луг,
 И младость пылкая толпами
 Стекается вокруг.
 Поют неистовые девы;
 Их сладострастные напевы
 В сердца вливают жар любви;
 Их перси дышат вожделеньем;

Их очи, полные безумством и томленьем,
 Сказали: счастье лови!
 Их вдохновенные движенья
 Сперва изображают нам
 Стыдливость милого смятенья,
 Желанье робкое — а там
 Восторг и дерзость наслажденья.
 Но вот рассыпались — по холмам и полям;
 Махая тирсами, несутся;
 Уж издали их вопли раздаются,
 И гул им вторит по лесам:
 Эван, эвое! Дайте чаши!
 Несите свежие венцы!
 Невольники, где тирсы наши?
 Бежим на мирный бой, отважные бойцы!

Друзья, в сей день благословенный
 Забвенью бросим суеты!
 Теки, вино, струю пенной
 В честь Вакха, муз и красоты!
 Эван, эвое! Дайте чаши!
 Несите свежие венцы!
 Невольники, где тирсы наши?
 Бежим на мирный бой, отважные бойцы!

**Кн. ГОЛИЦЫНОЙ,
 ПОСЫЛАЯ ЕЙ ОДУ «ВОЛЬНОСТЬ»**

Простой воспитанник природы,
 Так я, бывало, воспевал
 Мечту прекрасную свободы
 И ею сладостно дышал.
 Но вас я вижу, вам внимаю,
 И что же?.. слабый человек!..
 Свободу потеряв навек,
 Неволю сердцем обожаю.

* * *

Когда сожмешь ты снова руку,
 Которая тебе дарит
 На скучный путь и на разлуку
 Святую Библию харит?
 Амур нашел ее в Цитере,
 В архиве шалости молодой.
 По ней молись своей Венере
 Благочестивою душой.
 Прости, эпикурец мой!
 Остаься век, каков ты ныне,
 Лети во мрачный Альбион!
 Да сохранят тебя в чужбине
 Христос и верный Купидон!
 Неси в чужой предел пената,
 Но, помня прежни дни свои,
 Люби невественного брата,
 Страдальца чувственной любви!

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Тебя ль я видел, милый друг?
 Или неверное то было сновиденье,
 Мечтанье смутное, и пламенный недуг
 Обманом волновал мое воображенье?
 В минуты мрачные болезни роковой
 Ты ль, дева нежная, стояла надо мной
 В одежде воина с неловкостью приятной?
 Так, видел я тебя; мой тусклый взор узнал
 Знакомые красы под сей одеждой ратной:
 И слабым шепотом подругу я назвал...
 Но вновь в уме моем стеснились мрачны грезы,
 Я слабою рукой искал тебя во мгле...
 И вдруг я чувствую твое дыханье, слезы
 И влажный поцелуй на пламенном челе...
 Бессмертные! с каким волненьем
 Желанья, жизни огонь по сердцу пробежал!
 Я закипел, затрепетал...
 И скрылась ты прелестным привиденьем!
 Жестокий друг! меня томишь ты упоеньем:
 Приди, меня мертвит любовь!
 В молчанье благосклонной ночи
 Явись, волшебница! пускай увижу вновь
 Под грозным кивером твои небесны очи,
 И плащ, и пояс боевой,
 И бранной обувь украшенные ноги.
 Не медли, поспешай, прелестный воин мой,
 Приди, я жду тебя. Здоровья дар благой
 Мне снова ниспослали боги,
 А с ним и сладкие тревоги
 Любви таинственной и шалости младой.

ЖУКОВСКОМУ

Когда, к мечтательному миру
 Стремясь возвышенной душой,
 Ты держишь на коленях лиру
 Нетерпеливою рукой;
 Когда сменяются виденья
 Перед тобой в волшебной мгле,
 И быстрый холод вдохновенья
 Власы подъемлет на челе, —
 Ты прав, творишь ты *для немногих*,
 Не для завистливых судей,
 Не для сбирателей убогих
 Чужих суждений и вестей,
 Но для друзей таланта строгих,
 Священной истины друзей.
 Не всякого полюбит счастье,
 Не все родились для венцов.
 Блажен, кто знает сладострастье
 Высоких мыслей и стихов!
 Кто наслаждение прекрасным
 В прекрасный получил удел

И твой восторг уразумел
Восторгом пламенным и ясным.

К ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКОГО

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

МЕЧТАТЕЛЮ

Ты в страсти горестной находишь наслажденье;
Тебе приятно слезы лить,
Напрасным пламенем томить воображенье
И в сердце тихое уныние таить.
Поверь, не любишь ты, неопытный мечтатель.
О если бы тебя, унылых чувств искатель,
Постигло страшное безумие любви;
Когда б весь яд ее кипел в твоей крови;
Когда бы в долгие часы бессонной ночи,
На ложе, медленно терзаемый тоской,
Ты звал обманчивый покой,
Вотще смыкая скорбны очи,
Покровы жаркие рыдая обнимал
И сохнул в бешенстве бесплодного желанья, —
Поверь, тогда б ты не питал
Неблагодарного мечтанья!
Нет, нет! в слезах упав к ногам
Своей любовницы надменной,
Дрожащий, бледный, иступленный,
Тогда б воскликнул ты к богам:
«Отдайте, боги, мне рассудок омраченный,
Возьмите от меня сей образ роковой!
Довольно я любил; отдайте мне покой!»
Но мрачная любовь и образ незабвенный
Остались вечно бы с тобой.

К Н. Я. ПЛЮСКОВОЙ

На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил
И силе в гордости свободной
Кадилом лести не кадил.
Свободу лишь учася славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой музою моей.
Но, признаюсь, под Геликоном,
Где Касталийский ток шумел,
Я, вдохновенный Аполлоном,
Елисавету втайне пел.
Небесного земной свидетель,
Воспламененною душой
Я пел на троне добродетель

С ее приветною красой.
 Любовь и тайная свобода
 Внушали сердцу гимн простой,
 И неподкупный голос мой
 Был эхо русского народа.

СКАЗКИ

NOËL

Ура! в Россию скачет
 Кочующий деспот.
 Спаситель горько плачет,
 За ним и весь народ.
 Мария в хлопотах Спасителя страшает:
 «Не плачь, дитя, не плачь, сударь:
 Вот бука, бука — русский царь!»
 Царь входит и вещает:

«Узнай, народ российский,
 Что знает целый мир:
 И прусский и австрийский
 Я сшил себе мундир.
 О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
 Меня газетчик прославлял;
 Я пил, и ел, и обещал —
 И делом не замучен.

Послушайте в прибавку,
 Что сделаю потом:
 Лаврову дам отставку,
 А Соца — в желтый дом;
 Закон постановлю на место вам Горголи,
 И людям я права людей,
 По царской милости моей,
 Отдам из доброй воли».

От радости в постеле
 Распрыгалось дитя:
 «Неужто в самом деле?
 Неужто не шутя?»
 А мать ему: «Бай-бай! закрой свои ты глазки;
 Пора уснуть уж наконец,
 Послушавши, как царь-отец
 Рассказывает сказки».

ПРЕЛЕСТНИЦЕ

К чему нескромным сим убором,
 Умильным голосом и взором
 Младое сердце распалять
 И тихим, сладостным укором
 К победе легкой вызывать?
 К чему обманчивая нежность,
 Стыдливости притворный вид,
 Движений томная небрежность
 И трепет уст и жар ланит?
 Напрасны хитрые старанья:

В порочном сердце жизни нет...
 Невольный хлад негодованья
 Тебе мой роковой ответ.
 Твоею прелестью надменной
 Кто не владел во тьме ночной?
 Скажи: у двери оцененной
 Твоей обители презренной
 Кто смелой не стучал рукой?
 Нет, нет, другому свой завялый
 Неси, прелестница, венки;
 Ласкай неопытный порок,
 В твоих объятиях усталый;
 Но гордый замысел забудь:
 Не привлечешь питомца музы
 Ты на предательную грудь!
 Неси другим наемны узы,
 Своей любви постыдный торг,
 Корысти холодные лобзанья,
 И принужденные желанья,
 И златом купленный восторг!

К ЧААДАЕВУ

Любви, надежды, тихой славы
 Недолго нежил нас обман,
 Исчезли юные забавы,
 Как сон, как утренний туман;
 Но в нас горит еще желанье,
 Под гнетом власти роковой
 Нетерпеливою душой
 Отчизны внемлем призыванье.
 Мы ждем с томленьем упованья
 Минуты вольности святой,
 Как ждет любовник молодой
 Минуты верного свиданья.
 Пока свободою горим,
 Пока сердца для чести живы,
 Мой друг, отчизне посвятим
 Души прекрасные порывы!
 Товарищ, верь: взойдет она,
 Звезда пленительного счастья,
 Россия вспрянет ото сна,
 И на обломках самовластья
 Напишут наши имена!

НА КАРАМЗИНА

В его «Истории» изящность, простота
 Доказывают нам, без всякого пристрастья,
 Необходимость самовластья
 И прелесть кнута.

НА КАЧЕНОВСКОГО

Бессмертной рукой раздавленный зоил,
 Позорного клейма ты вновь не заслужил!
 Бесчестью твою нужна ли перемена?

Наш Тацит на тебя захочет ли взглянуть?
 Уймись — и прежним ты стихом доволен будь,
Плюгавый выкол из гузна Дефонтена!

* * *

Послушай, дедушка, мне каждый раз,
 Когда взгляну на этот замок Ретлер,
 Приходит в мысль: что, если это проза,
 Да и дурная?..

ИСТОРИЯ СТИХОТВОРЦА

Внимает он привычным ухом
 Свист;
 Марает он единым духом
 Лист;
 Потом всему терзает свету
 Слух;
 Потом печатает — и в Лету
 Бух!

1819

О. МАССОН

Ольга, крестница Киприды,
 Ольга, чудо красоты,
 Как же ласки и обиды
 Расточать привыкла ты!
 Поцелуем сладострастья
 Ты, тревожа сердце в нас,
 Соблазнительного счастья
 Назначаешь тайный час.
 Мы с горячкою любовной
 Прибегаем в час условный,
 В дверь стучим — но в сотый раз
 Слышим твой коварный шепот,
 И служанки сонный ропот,
 И насмешливый отказ.

Ради резвого разврата,
 Приапических затей,
 Ради неги, ради злата,
 Ради прелести твоей,
 Ольга, жрица наслаждения,
 Внемли наш влюбленный плач —
 Ночь восторгов, ночь забвенья
 Нам наверное назначь.

ДОРИДА

В Дориде нравятся и локоны золотые,
 И бледное лицо, и очи голубые.
 Вчера, друзей моих оставя пир ночной,
 В ее объятиях я негу пил душой;

Восторги быстрые восторгами сменялись,
 Желанья гасли вдруг и снова разгорались;
 Я таял; но среди неверной темноты
 Другие милые мне виделись черты,
 И весь я полон был таинственной печали,
 И имя чуждое уста мои шептали.

N. N.

(В. В. ЭНГЕЛЬГАРДУ)

Я ускользнул от Эскулапа
 Худой, обритый — но живой;
 Его мучительная лапа
 Не тяготеет надо мной.
 Здоровье, легкий друг Приапа,
 И сон, и сладостный покой,
 Как прежде, посетили снова
 Мой угол тесный и простой.
 Утешь и ты полубольного!
 Он жаждет видеться с тобой,
 С тобой, счастливый беззаконник,
 Ленивый Пинда гражданин,
 Свободы, Вакха верный сын,
 Венеры набожный поклонник
 И наслаждений властелин!
 От суеты столицы праздной,
 От хладных прелестей Невы,
 От вредной сплетницы молвы,
 От скуки, столь разнообразной,
 Меня зовут холмы, луга,
 Тенисты клены огорода,
 Пустынной речки берега
 И деревенская свобода.
 Дай руку мне. Приеду я
 В начале мрачном сентября:
 С тобою пить мы будем снова,
 Открытым сердцем говоря
 Насчет глупца, вельможи злого,
 Насчет холопа записного,
 Насчет небесного царя,
 А иногда насчет земного.

ОРЛОВУ

О ты, который сочел
 С душою пылкой, откровенной
 (Хотя и русский генерал)
 Любезность, разум просвещенный;
 О ты, который, с каждым днем
 Вставая на военну муку,
 Усталым усачам верхом
 Преподаешь царей науку;
 Но не бесславишь сторяча
 Свою воинственную руку
 Презренной палкой палача,
 Орлов, ты прав: я забываю
 Свои гусарские мечты

И с Соломоном восклицаю:
 Мундир и сабля — суеты!
 На генерала Киселева
 Не положу своих надежд,
 Он очень мил, о том ни слова,
 Он враг коварства и невежд;
 За шумным, медленным обедом
 Я рад сидеть его соседом,
 До ночи слушать рад его;
 Но он придворный: обещанья
 Ему не стоят ничего.
 Смирив немирные желанья,
 Без долимана, без усов,
 Сокроюсь с тайною свободой,
 С цевницей, негой и природой
 Под сенью дедовских лесов;
 Над озером, в спокойной хате,
 Или в траве густых лугов,
 Или холма на злачном скате,
 В бухарской шапке и в халате
 Я буду петь моих богов,
 И буду ждать. — Когда ж восстанет
 С одра покоя бог мечей
 И брани громкий вызов грянет,
 Тогда покину мир полей;
 Питомец пламенный Беллоны,
 У трона верный гражданин!
 Орлов, я стану под знамены
 Твоих воинственных дружин;
 В шатрах, среди сечи, среди пожаров,
 С мечом и с лирой боевой
 Рубиться буду пред тобой
 И славу петь твоих ударов.

К ЩЕРБИНИНУ

Житье тому, любезный друг,
 Кто страстью глупую не болен,
 Кому влюбиться недосуг,
 Кто занят всем и всем доволен;
 Кто Наденьку, под вечерок,
 За тайным ужином ласкает
 И жирный страсбургский пирог
 Вином душистым запивает;
 Кто, удалив заботы прочь,
 Как верный сын пафосской веры,
 Проводит набожную ночь
 С младой монашенкой Цитеры.
 Поутру сладко дремлет он,
 Читая листик «Инвалида»;
 Весь день веселью посвящен,
 А в ночь — вновь царствует Киприда.

И мы не так ли дни ведем,
 Щербинин, резвый друг забавы,
 С Амуром, шалостью, вином,

Покамест молоды и здравы?
 Но дни молодые пролетят,
 Веселье, нега нас покинут,
 Желаньям чувства изменят,
 Сердца иссохнут и остынут.
 Тогда — без песен, без подруг,
 Без наслаждений, без желаний —
 Найдем отраду, милый друг,
В туманном сне воспоминаний!
 Тогда, качая головой,
 Скажу тебе у двери гроба:
 «Ты помнишь Фанни, милый мой?» —
 И тихо улыбнемся оба.

ДЕРЕВНЯ

Приветствую тебя, пустынный уголок,
 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
 Где льется дней моих невидимый поток
 На лоне счастья и забвенья.
 Я твой — я променял порочный двор цирцей,
 Роскошные пиры, забавы, заблужденья
 На мирный шум дубров, на тишину полей,
 На праздность вольную, подругу размышленья.

Я твой — люблю сей темный сад
 С его прохладой и цветами,
 Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
 Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
 Везде передо мной подвижные картины:
 Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
 Где парус рыбака белеет иногда,
 За ними ряд холмов и нивы полосаты,
 Вдали рассыпанные хаты,
 На влажных берегах бродящие стада,
 Овины дымные и мельницы крылаты;
 Везде следы довольства и труда...

Я здесь, от суетных оков освобожденный,
 Учуся в истине блаженство находить,
 Свободною душой закон боготворить,
 Роптанью не внимать толпы непросвещенной,
 Учащем отвечать застенчивой мольбе
 И не завидовать судьбе
 Злодея иль глупца — в величии неправом.

Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!
 В уединенье величавом
 Слышнее ваш отрадный глас.
 Он гонит лени сон угрюмый,
 К трудам рождает жар во мне,
 И ваши творческие думы
 В душевной зреют глубине.

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
 Среди цветущих нив и гор
 Друг человечества печально замечает
 Везде невежества убийственный позор.
 Не видя слез, не внемля стона,
 На пагубу людей избранное судьбой,
 Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
 Присвоило себе насильственной лозой
 И труд, и собственность, и время земледельца.
 Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
 Здесь рабство тощее влачится по браздам
 Неумолимого владельца.
 Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
 Надежд и склонностей в душе питать не смея,
 Здесь девы юные цветут
 Для прихоти бесчувственной злодея.
 Опора милая стареющих отцов,
 Младые сыновья, товарищи трудов,
 Из хижины родной идут собой умножить
 Дворовые толпы измученных рабов.
 О, если б голос мой умел сердца тревожить!
 Почто в груди моей горит бесплодный жар
 И не дан мне судьбой витийства грозный дар?
 Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
 И рабство, падшее по манию царя,
 И над отечеством свободы просвещенной
 Взойдет ли наконец прекрасная зря?

ДОВОМУ

Поместья мирного незримый покровитель,
 Тебя молю, мой добрый домовой,
 Храни селенье, лес и дикий садик мой
 И скромную семью моей обитель!
 Да не вредят полям опасный хлад дождей
 И ветра позднего осенние набеги;
 Да в пору благотворны снеги
 Покроют влажный тук полей!
 Останься, тайный страж, в наследственной сени,
 Постигни робостью полуночного вора
 И от недружеского взора
 Счастливый домик охраняй!
 Ходи вокруг его заботливым дозором,
 Люби мой малый сад и берег сонных вод,
 И сей укромный огород
 С калиткой ветхою, с обрушенным забором!
 Люби зеленый скат холмов,
 Луга, измятые моей бродящей ленью,
 Прохладу лип и кленов шумный кров —
 Они знакомы вдохновенью.

РУСАЛКА

Над озером, в глухих дубровах,
 Спасался некогда монах,
 Всегда в занятиях суровых,

В посте, молитве и трудах.
Уже лопаткою смиренной
Себе могилу старец рыл —
И лишь о смерти вожденной
Святых угодников молил.

Однажды летом у порогу
Поникшей хижины своей
Анахорет молился Богу.
Дубравы делались черней;
Туман над озером дымился,
И красный месяц в облаках
Тихонько по небу катился.
На воды стал глядеть монах.

Глядит, невольно страха полный;
Не может сам себя понять...
И видит: закипели волны
И присмирели вдруг опять...
И вдруг... легка, как тень ночная,
Бела, как ранний снег холмов,
Выходит женщина нагая
И молча села у берегов.

Глядит на старого монаха
И чешет влажные волосы.
Святой монах дрожит со страха
И смотрит на ее красы.
Она манит его рукою,
Кивает быстро головой...
И вдруг — падучею звездою —
Под сонной скрылася волной.

Всю ночь не спал старик угрюмый
И не молился целый день —
Перед собой с невольной думой
Всё видел чудной девы тень.
Дубравы вновь оделись тьмою;
Пошла по облакам луна,
И снова дева над водою
Сидит, прелестна и бледна.

Глядит, кивает головою,
Целует издали шутя,
Играет, плещется волною,
Хохочет, плачет, как дитя,
Зовет монаха, нежно стонет...
«Монах, монах! Ко мне, ко мне!..»
И вдруг в волнах прозрачных тонет;
И всё в глубокой тишине.

На третий день отшельник страстный
Близ очарованных берегов
Сидел и девы ждал прекрасной,
А тень ложилась средь дубров...

Заря прогнала тьму ночную:
 Монаха не нашли нигде,
 И только бороду седую
 Мальчишки видели в воде.

НЕДОКОНЧЕННАЯ КАРТИНА

Чья мысль восторгом угадала,
 Постигла тайну красоты?
 Чья кисть, о небо, означала
 Сии небесные черты?

Ты, гений!.. Но любви страданья
 Его сразили. Взор немой
 Вперил он на свое создание
 И гаснет пламенной душой.

УЕДИНЕНИЕ

Блажен, кто в отдаленной сени,
 Вдали взыскательных невежд,
 Дни делит меж трудов и лени,
 Воспоминаний и надежд;
 Кому судьба друзей послала,
 Кто скрыт, по милости Творца,
 От усыпителя глупца,
 От пробудителя нахала.

ВЕСЕЛЫЙ ПИР

Я люблю вечерний пир,
 Где веселье председатель,
 А свобода, мой кумир,
 За столом законодатель,
 Где до утра слово *пей!*
 Заглушает крики песен,
 Где просторен круг гостей,
 А кружок бутылок тесен.

ЛИЛЕ

Лила, Лила! я страдаю
 Безотрадную тоской,
 Я томлюсь, я умираю,
 Гасну пламенной душой;
 Но любовь моя напрасна:
 Ты смеешься надо мной.
 Смейся, Лила: ты прекрасна
 И бесчувственной красой.

ВСЕВОЛОЖСКОМУ

Прости, счастливый сын пиров,
 Балованный дитя свободы!
 Итак, от наших берегов,
 От мертвой области рабов,
 Капральства, прихотей и моды
 Ты скачешь в мирную Москву,
 Где наслажденьям знают цену,

Беспечно дремлют наяву
И в жизни любят перемену.
Разнообразной и живой
Москва пленяет пестротой,
Старинной роскошью, пирами,
Невестами, колоколами,
Забавной, легкой суетой,
Невинной прозой и стихами.
Ты там на шумных вечерах
Увидишь важное безделье,
Жеманство в тонких кружевах
И глупость в золотых очках,
И тяжкой знатности веселье,
И скуку с картами в руках.
Всего минутный наблюдатель,
Ты посмеешься под рукой;
Но вскоре, верный обожатель
Забав и лени золотой,
Держась моего совета
И волю всей душой любя,
Оставишь круг большого света
И жить решишься для себя.
Уже в приюте отдаленном
Я вижу мысленно тебя:
Кипит в бокале опененном
Аи холодная струя;
В густом дыму ленивых трубок,
В халатах, новые друзья
Шумят и пьют! — задорный кубок
Обходит их безумный круг,
И мчится в радостях досуг;
А там египетские девы
Летают, вьются пред тобой;
Я слышу звонкие напевы,
Стон неги, вопли, дикий вой;
Их иступленные движенья,
Огонь неистовых очей
И всё, мой друг, в душе твоей
Рождает трепет упоенья...
Но вспомни, милый: здесь одна,
Тебя всечасно ожидая,
Вздыхает пленница младая;
Весь день уныла и томна,
В своей задумчивости сладкой
Тихонько плачет под окном
От грозных аргусов украдкой
И смотрит на пустынный дом,
Где мы так часто пировали
С Кипридой, Ваххом и тобой,
Куда с надеждой и тоской
Ее желанья улетали.
О, скоро ль милого найдут
Ее потупленные взоры,
И пред любовью упадут
Замков ревнивые затворы?

А наш осиротелый круг,
Товарищ, скоро ль оживится?
Когда прискачешь, милый друг?
Душа вослед тебе стремится.
Где б ни был ты, возьми венок
Из рук молодого сладострастья
И докажи, что ты знаток
В неведомой науке счастья.

ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ

Я знаю, Лидинька, мой друг,
Кому в задумчивости сладкой
Ты посвятила свой досуг,
Кому ты жертвуешь украдкой
От подозрительных подруг.
Тебя страшит проказник милый,
Очарователь легкокрылый,
И хладной важностью своей
Тебе несносен Гименей.
Ты молишься другому богу,
Своей покорствуя судьбе;
Восторги нежные к тебе
Нашли пустынную дорогу.
Я понял слабый жар очей,
Я понял взор полузакрытый,
И побледневшие ланиты,
И томность поступи твоей...
Твой бог не полною отрадой
Своих поклонников дарит.
Его таинственной наградой
Младая скромность дорожит.
Он любит сны воображенья,
Он терпит на дверях замков,
Он друг стыдливый наслажденья,
Он брат любви, но одинок.
Когда бессонницей унылой
Во тьме ночной томишься ты,
Он оживляет тайной силой
Твои неясные мечты,
Вздыхает нежно с бедной Лидой
И гонит тихою рукой
И сны, внушенные Кипридой,
И сладкий, девственный покой.
В уединенном упоенье
Ты мыслишь обмануть любовь.
Напрасно! — в самом наслажденье
Тоскуешь и томишься вновь.
Амур ужели не заглянет
В неосвященный свой приют?
Твоя краса, как роза, вянет;
Минуты юности бегут.
Ужель мольба моя напрасна?
Забудь преступные мечты,
Не вечно будешь ты прекрасна,
Не для себя прекрасна ты.

СТАНСЫ ТОЛСТОМУ

Философ ранний, ты бежишь
Пиров и наслаждений жизни,
На игры младости глядишь
С молчаньем хладным укоризны.

Ты милые забавы света
На грусть и скуку променял
И на лампаду Эпиктета
Златой Горациев фиал.

Поверь, мой друг, она придет,
Пора унылых сожалений,
Холодной истины забот
И бесполезных размышлений.

Зевес, балуя смертных чад,
Всем возрастам дает игрушки:
Над сединами не гремят
Безумства резвые гремушки.

Ах, младость не приходит вновь!
Зови же сладкое безделье,
И легкокрылую любовь,
И легкокрылое похмелье!

До капли наслажденье пей,
Живи беспечен, равнодушен!
Мгновенью жизни будь послушен,
Будь молод в юности твоей!

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.

Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

ПОСЛАНИЕ К кн. ГОРЧАКОВУ

Питомец мод, большого света друг,
Обычаев блестящий наблюдатель,
Ты мне велишь оставить мирный круг,
Где, красоты беспечный обожатель,
Я провожу незнаемый досуг.
Как ты, мой друг, в неопытные лета,

Опасною прельщенный суетой,
 Терял я жизнь, и чувства, и покой;
 Но угорел в чаду большого света
 И отдохнуть убрался я домой.
 И, признаюсь, мне во сто крат милее
 Младых повес счастливая семья,
 Где ум кипит, где в мыслях волен я,
 Где спорю вслух, где чувствую живее,
 И где мы все — прекрасного друзья,
 Чем вялые, бездушные собранья,
 Где ум хранит невольное молчанье,
 Где холодом сердца поражены,
 Где Бутурлин — невежд законодатель,
 Где Шеппинг — царь, а скука — председатель,
 Где глупостью единой все равны.
 Я помню их, детей самолюбивых,
 Злых без ума, без гордости спесивых,
 И, разглядев тиранов модных зал,
 Чуждаюсь их укоров и похвал!..
 Когда в кругу Лаис благочестивых
 Затянутый невежда-генерал
 Красавицам внимательным и сонным
 С трудом острит французский мадригал,
 Глядя на всех с нахальством благосклонным,
 И все вокруг и дремлют и молчат,
 Крутят усы и шпорами бренчат,
 Да изредка с улыбкою зевают, —
 Тогда, мой друг, забытых шалунов
 Свобода, Вахх и музы угощают.
 Не слышу я бывало-острых слов,
 Политики смешного лепетанья,
 Не вижу я изношенных глупцов,
 Святых невежд, почетных подлецов
 И мистики придворного кривлянья!..
 И ты на миг оставь своих вельмож
 И тесный круг друзей моих умножь,
 О ты, харит любовник своевольный,
 Приятный льстец, язвительный болтун,
 По-прежнему остряк небогомольный,
 По-прежнему философ и шалун.

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

Ты прав — несносен Фирс ученый,
 Педант надутый и мудреный —
 Он важно судит обо всем,
 Всего он знает понемногу.
 Люблю тебя, сосед Пахом, —
 Ты просто глуп, и слава Богу.

К ПОРТРЕТУ ДЕЛЬВИГА

Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил,
 Что, коль судьбой ему даны б Нерон и Тит,
 То не в Нерона меч, но в Тита сей вонзил —
 Нерон же без него правдиву смерть узрит.

НА СТУРДЗУ

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата
И смерти немца Коцебу.

МАДРИГАЛ М...ОЙ

О вы, которые любовью не горели,
Взгляните на нее — узнаете любовь.
О вы, которые уж сердцем охладели,
Взгляните на нее: полюбите вы вновь.

ИМЕНИНЫ

Умножайте шум и радость;
Пойте песни в добрый час:
Дружба, грация и младость
Именинницы у нас.
Между тем дитя крылато,
Вас приветствуя, друзья,
Втайне думает: когда-то
Именинник буду я!

К. А. Б***

Что можем наскоро стихами молвить ей?
Мне истина всего дороже.
Подумать не успев, скажу: ты всех милей;
Подумав, я скажу всё то же.

В АЛЬБОМ СОСНИЦКОЙ

Вы соединить могли с холодностью сердечной
Чудесный жар пленительных очей.
Кто любит вас, тот очень глуп, конечно;
Но кто не любит вас, тот во сто раз глупей.

БАКУНИНОЙ

Напрасно воспевать мне ваши именины
При всем усердии послушности моей;
Вы не милее в день святой Екатерины
Затем, что никогда нельзя быть вас милей.

НА КОЛОСОВУ

Всё пленяет нас в Эсфири:
Упоительная речь,
Поступь важная в порфире,
Кудри черные до плеч,
Голос нежный, взор любви,
Набеленная рука,
Размалеванные брови
И огромная нога!

ЗАПИСКА К ЖУКОВСКОМУ

Раевский, *молоденец* прежний,
А там уже *отважный* сын,

И Пушкин, школьник неприлежный
 Парнасских девственниц-богинь,
 К тебе, Жуковский, заезжали,
 Но к неописанной печали
 Поэта дома не нашли —
 И, увенчавшись кипарисом,
 С французской повестью *Борисом*
 Домой уныло побрели.
 Какой святой, какая сводня
 Сведет Жуковского со мной?
 Скажи — не будешь ли сегодня
 С Карамзиным, с Карамзиной? —
 На всякий случай — ожидаю,
 Тронися просьбою моей,
 Тебя зовет на чашку чаю
 Раевский — *слава наших дней*.

* * *

За ужином объелся я,
 А Яков запер дверь оплошно —
 Так было мне, мои друзья,
 И *кюхельбекерно* и тошно.

1820

ДОРИДЕ

Я верю: я любим; для сердца нужно верить.
 Нет, милая моя не может лицемерить;
 Всё непритворно в ней: желаний томный жар,
 Стыдливость робкая, харит бесценный дар,
 Нарядов и речей приятная небрежность,
 И ласковых имен младенческая нежность.

* * *

Мне бой знаком — люблю я звук мечей:
 От первых лет поклонник бранной славы,
 Люблю войны кровавые забавы,
 И смерти мысль мила душе моей.
 Во цвете лет свободы верный воин,
 Перед собой кто смерти не видал,
 Тот полного веселья не вкушал
 И милых жен лобзаний не достоин.

ТЫ И Я

Ты богат, я очень беден;
 Ты прозаик, я поэт;
 Ты румян как маков цвет,
 Я как смерть и тош и бледен.
 Не имея ввек забот,
 Ты живешь в огромном доме;
 Я ж средь горя и хлопот
 Провожу дни на соломе.

Ешь ты сладко всякий день,
Тянешь вина на свободе,
И тебе нередко лень
Нужный долг отдать природе;
Я же с черствого куска,
От воды сырой и пресной
Сажень за сто с чердака
За нуждой бегу известной.
Окружен рабов толпой,
С грозным деспотизма взором,
Афедрон ты жирный свой
Подтираешь коленкором;
Я же грешную дыру
Не балую детской модой
И Хвостова жесткой одой,
Хоть и морщуся, да тру.

ДОБРЫЙ СОВЕТ

Давайте пить и веселиться,
Давайте жизнь играть,
Пусть чернь слепая суетится,
Не нам безумной подражать.
Пусть наша ветренная младость
Потонет в неге и вине,
Пусть изменяющая радость
Нам улыбнется хоть во сне.
Когда же юность легким дымом
Умчит веселья юных дней,
Тогда у старости отыдем
Всё, что отыметса у ней.

ЮРЬЕВУ

Любимец ветренных Лаис,
Прелестный баловень Киприды —
Умей сносить, мой Адонис,
Ее минутные обиды!
Она дала красы молодой
Тебе в удел очарованье,
И черный ус, и взгляд живой,
Любви улыбку и молчанье.
С тебя довольно, милый друг.
Пускай, желаний пылких чуждый,
Ты поцелуями подруг
Не наслаждаешься, что нужды?
В чаду веселий городских,
На легких играх Терпсихоры
К тебе красавиц молодых
Летят задумчивые взоры.
Увы! язык любви немой,
Сей вздох души красноречивый,
Быть должен сладок, милый мой,
Беспечности самолюбивой.
И счастлив ты своей судьбой
А я, повеса вечно-праздник,

Потомок негров безобразный,
 Вращенный в дикой простоте,
 Любви не ведая страданий,
 Я нравлюсь юной красоте
 Бесстыдным бешенством желаний;
 С невольным пламенем ланит
 Украдкой нимфа молодая,
 Сама себя не понимая,
 На фавна иногда глядит.

* * *

Увы, зачем она блистает
 Минутной, нежной красотой?
 Она приметно увядает
 Во цвете юности живой...
 Увянет! Жизнью молодою
 Не долго наслаждаться ей;
 Не долго радовать собою
 Счастливый круг семьи своей,
 Беспечной, милой остротою
 Беседы наши оживлять
 И тихой, ясною душою
 Страдальца душу уладить.
 Спешу в волненье дум тяжелых,
 Сокрыв уныние мое,
 Наслушаться речей веселых
 И наглядеться на нее.
 Смотрю на все ее движенья,
 Внимаю каждый звук речей, —
 И миг единый разлученья
 Ужасен для души моей.

К***

Зачем безвременную скуку
 Зловещей думою питать,
 И неизбежную разлуку
 В унынье робком ожидать?
 И так уж близок день страданья!
 Один, в тиши пустых полей,
 Ты будешь звать воспоминанья
 Потерянных тобою дней!
 Тогда изгнаньем и могилой,
 Несчастный! будешь ты готов
 Купить хоть слово девы милой,
 Хоть легкий шум ее шагов.

* * *

Мне вас не жаль, года весны моей,
 Протекшие в мечтах любви напрасной, —
 Мне вас не жаль, о таинства ночей,
 Воспетые цевницей сладострастной:

Мне вас не жаль, неверные друзья,
 Венки пиров и чаши круговые, —

Мне вас не жаль, изменницы молодые, —
Задумчивый, забав чуждаюсь я.

Но где же вы, минуты умиления,
Младых надежд, сердечной тишины?
Где прежний жар и слезы вдохновенья?..
Придите вновь, года моей весны!

* * *

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волнением и тоской туда стремлюсь я,
Вспоминаю упоенный...
И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и всё, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Лети, корабль, носи меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к берегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отчески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы молодые,
Подруги тайные моей весны златая,
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

ДОЧЕРИ КАРАГЕОРГИЯ

Гроза луны, свободы воин,
Покрытый кровию святой,
Чудесный твой отец, преступник и герой,

И ужаса людей, и славы был достоин.
 Тебя, младенца, он ласкал
 На пламенной груди рукой окровавленной;
 Твоей игрушкой был кинжал,
 Братоубийством изощренный...
 Как часто, возбудив свирепой мести жар,
 Он, молча, над твоей невинной колыбелью
 Убийства нового обдумывал удар —
 И лепет твой внимал, и не был чужд веселью...
 Таков был: сумрачный, ужасный до конца.
 Но ты, прекрасная, ты бурный век отца
 Смирненной жизнью пред небом искупила:
 С могилы грозной к небесам
 Она, как сладкий фимиам,
 Как чистая любви молитва, восходила.

ЧЕРНАЯ ШАЛЬ

Гляжу, как безумный, на черную шаль,
 И холодную душу терзает печаль.

Когда легковерен и молод я был,
 Младую гречанку я страстно любил;

Прелестная дева ласкала меня,
 Но скоро я дожил до черного дня.

Однажды я созвал веселых гостей;
 Ко мне постучался презренный еврей;

«С тобою пируют (шепнул он) друзья;
 Тебе ж изменила гречанка твоя».

Я дал ему злата и проклял его
 И верного позвал раба моего.

Мы вышли; я мчался на быстром коне;
 И кроткая жалость молчала во мне.

Едва я завидел гречанки порог,
 Глаза потемнели, я весь изнемог...

В покой отдаленный вхожу я один...
 Неверную деву лобзал армянин.

Не взвидел я света; булат загремел...
 Прервать поцелуя злодей не успел.

Безглавое тело я долго топтал,
 И молча на деву, бледнея, взирал.

Я помню моления... текущую кровь...
 Погибла гречанка, погибла любовь!

С главы ее мертвой сняв черную шаль,
 Отер я безмолвно кровавую сталь.

Мой раб, как настала вечерняя мгла,
В дунайские волны их бросил тела.

С тех пор не целую прелестных очей,
С тех пор я не знаю веселых ночей.

Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И холодную душу терзает печаль.

НЕРЕИДА

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел nereиду.
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть:
Над ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала.

* * *

Редеет облаков летучая гряда;
Звезда печальная, вечерняя звезда,
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины;
Люблю твой слабый свет в небесной вышине:
Он думы разбудил, уснувшие во мне.
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где всё для сердца мило,
Где стройны тополя в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень —
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

К ПОРТРЕТУ ЧААДАЕВА

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарской.

К ПОРТРЕТУ ВЯЗЕМСКОГО

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род — с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

НА АРАКЧЕЕВА

Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он — друг и брат.
Полон злобы, полон мести,

Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он? *Преданный без лести,*
..... грошевой солдат.

ЗАПИСКА К ЖУКОВСКОМУ

Штабс-капитану, Гёте, Грею,
Томсону, Шиллеру привет!
Им поклониться честь имею,
Но сердцем истинно жалею,
Что никогда их дома нет.

* * *

Аптеку позабудь ты для венков лавровых
И не мори больных, но усыпляй здоровых.

* * *

Когда б писать ты начал сдуру,
Тогда б наверно ты пролез
Сквозь нашу тесную цензуру,
Как видишь в царствие небес.

НА КАЧЕНОВСКОГО

Хаврониос! ругатель закоснелый,
Во тьме, в пыли, в презренье поседельный,
Уймись, дружок! к чему журнальный шум
И пасквилей томительная тупость?
Затейник зол, с улыбкой скажет глупость.
Невежда глуп, зевая, скажет ум.

* * *

Как брань тебе не надоела?
Расчет короток мой с тобой:
Ну, так! я празден, я без дела,
А ты бездельник деловой.

ЭПИГРАММА

НА гр. Ф. И. ТОЛСТОГО

В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор,
И теперь он — слава богу —
Только что картежный вор.

ПОЭМЫ И СКАЗКИ

ПОЭМЫ

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

ПОСВЯЩЕНИЕ

*Для вас, души моей царицы,
Красавицы, для вас одних
Времен минувших небылицы,
В часы досугов золотых,
Под шепот старины болливой,
Рукою верной я писал;
Примите ж вы мой труд игривый!
Ничьих не требуя похвал,
Счастлив уж я надеждой сладкой,
Что дева с трепетом любви
Посмотрит, может быть, украдкой
На песни грешные мои.*

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несет богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идет, бредет сама собой;
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русской дух... там Русью пахнет!

И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый;
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил.
Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету...

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

В толпе могучих сыновей,
С друзьями, в гриднице высокой
Владимир-солнце пировал;
Меньшую дочь он выдавал
За князя храброго Руслана
И мед из тяжкого стакана
За их здоровье выпивал.
Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.
Они веселье в сердце лили,
Шипела пена по краям,
Их важно чашники носили
И низко кланялись гостям.

Слилися речи в шум невнятный;
Жужжит гостей веселый круг;
Но вдруг раздался глас приятный
И звонких гуслей беглый звук;
Все смолкли, слушают Баяна:
И славит сладостный певец
Людмилу-прелесть, и Руслана,
И Лелем свитый им венец.

Но, страстью пылкой утомленный,
Не ест, не пьет Руслан влюбленный;
На друга милого глядит,
Вздыхает, сердится, горит
И, щипля ус от нетерпенья,
Считает каждые мгновенья.
В унынье, с пасмурным челом,
За шумным, свадебным столом
Сидят три витязя молодые;
Безмолвны, за ковшом пустым,
Забыты кубки круговые,
И брашна неприятны им;
Не слышат вещего Баяна;
Потупили смущенный взгляд:
То три соперника Руслана;
В душе несчастные таят
Любви и ненависти яд.
Один — Рогдай, воитель смелый,

Мечом раздвинувший пределы
 Богатых киевских полей;
 Другой — Фарлаф, крикун надменный,
 В пирах никем не побежденный,
 Но воин скромный средь мечей;
 Последний, полный страстной думы,
 Младой хазарский хан Ратмир:
 Все трое бледны и угрюмы,
 И пир веселый им не в пир.

Вот кончен он; встают рядами,
 Смешались шумными толпами,
 И все глядят на молодых:
 Невеста очи опустила,
 Как будто сердцем приуныла,
 И светел радостный жених.
 Но тень объемлет всю природу,
 Уж близко к полночи глухой;
 Бояре, задремав от меду,
 С поклоном убралась домой.
 Жених в восторге, в упоенье:
 Ласкает он в воображенье
 Стыдливой девы красоту;
 Но с тайным, грустным умиленьем
 Великий князь благословеньем
 Дарует юную чету.

И вот невесту молодую
 Ведут на брачную постель;
 Огни погасли... и ночную
 Лампаду зажигает Лель.
 Свершились милые надежды,
 Любви готовятся дары;
 Падут ревнивые одежды
 На царградские ковры...
 Вы слышите ль влюбленный шепот,
 И поцелуев сладкий звук,
 И прерывающийся ропот
 Последней робости?.. Супруг
 Восторги чувствует заране;
 И вот они настали... Вдруг
 Гром грянул, свет блеснул в тумане,
 Лампада гаснет, дым бежит,
 Кругом все смерклось, все дрожит,
 И замерла душа в Руслане...
 Все смолкло. В грозной тишине
 Раздался дважды голос странный,
 И кто-то в дымной глубине
 Взвился чернее мглы туманной...
 И снова терем пуст и тих;
 Встает испуганный жених,
 С лица катится пот остылый;
 Трепеща, хладною рукой
 Он вопрошает мрак немой...
 О горе: нет подруги милой!

Хватает воздух он пустой;
 Людмилы нет во тьме густой,
 Похищена безвестной силой.

Ах, если мученик любви
 Страдает страстью безнадежно,
 Хоть грустно жить, друзья мои,
 Однако жить еще возможно.
 Но после долгих, долгих лет
 Обнять влюбленную подругу,
 Желаний, слез, тоски предмет,
 И вдруг минутную супругу
 Навек утратить... о друзья,
 Конечно, лучше б умер я!

Однако жив Руслан несчастный.
 Но что сказал великий князь?
 Сраженный вдруг молвой ужасной,
 На зятя гневом распался,
 Его и двор он созывает:
 «Где, где Людмила?» — вопрошает
 С ужасным, пламенным челом.
 Руслан не слышит. «Дети, други!
 Я помню прежние заслуги:
 О, сжальтесь вы над стариком!
 Скажите, кто из вас согласен
 Скакать за дочерью моей?
 Чей подвиг будет не напрасен,
 Тому — терзайся, плачь, злодей!
 Не мог сберечь жены своей! —
 Тому я дам ее в супруги
 С полцарством прадедов моих.
 Кто ж вызовется, дети, други?..»
 «Я!» — молвил горестный жених.
 «Я! я!» — воскликнули с Рогдаем
 Фарлаф и радостный Ратмир:
 «Сейчас коней своих седлаем;
 Мы рады весь изездить мир.
 Отец наш, не продлим разлуки;
 Не бойся: едем за княжной».
 И с благодарностью немой
 В слезах к ним простирает руки
 Старик, измученный тоской.

Все четверо выходят вместе;
 Руслан уныньем как убит;
 Мысль о потерянной невесте
 Его терзает и мертвит.
 Садятся на коней ретивых;
 Вдоль берегов Днепра счастливых
 Летят в клубящейся пыли;
 Уже скрываются вдаль;
 Уж всадников не видно боле...
 Но долго все еще глядит

Великий князь в пустое поле
И думой им вослед летит.

Руслан томился молчаливо,
И смысл и память потеряв.
Через плечо глядя спесиво
И важно подбочась, Фарлаф,
Надувшись, ехал за Русланом.
Он говорит: «Насилу я
На волю вырвался, друзья!
Ну, скоро ль встречусь с великаном?
Уж то-то крови будет течь,
Уж то-то жертв любви ревнивой!
Повеселись, мой верный меч,
Повеселись, мой конь ретивый!»

Хазарский хан, в уме своем
Уже Людмилу обнимая,
Едва не пляшет над седлом;
В нем кровь играет молодая,
Огня надежды полон взор:
То скачет он во весь опор,
То дразнит бегуна лихого,
Кружит, подьемлет на дыбы
Иль дерзко мчит на холмы снова.

Рогдай угрюм, молчит — ни слова...
Страшась неведомой судьбы
И мучась ревностью напрасной,
Всех больше беспокоен он,
И часто взор его ужасный
На князя мрачно устремлен.

Соперники одной дорогой
Все вместе едут целый день.
Днепра стал темен брег отлогий;
С востока льется ночи тень;
Туманы над Днепром глубоким;
Пора коням их отдохнуть.
Вот под горой путем широким
Широкий пересека путь.
«Разъедемся, пора! — сказали. —
Безвестной вверимся судьбе».
И каждый конь, не чуя стали,
По воле путь избрал себе.

Что делаешь, Руслан несчастный,
Один в пустынной тишине?
Людмилу, свадьбы день ужасный,
Все, мнится, видел ты во сне.
На брови медный шлем надвинув,
Из мощных рук узду покинув,
Ты шагом едешь меж полей,
И медленно в душе твоей
Надежда гибнет, гаснет вера.

Но вдруг пред витязем пещера;
В пещере свет. Он прямо к ней
Идет под дремлющие своды,
Ровесники самой природы.
Вошел с уныньем: что же зрит?
В пещере старец; ясный вид,
Спокойный взор, брада седая;
Лампада перед ним горит;
За древней книгой он сидит,
Ее внимательно читая.
«Добро пожаловать, мой сын! —
Сказал с улыбкой он Руслану. —
Уж двадцать лет я здесь один
Во мраке старой жизни вяну;
Но наконец дождался дня,
Давно предвиденного мною.
Мы вместе сведены судьбою;
Садись и выслушай меня.
Руслан, лишился ты Людмилы;
Твой твердый дух теряет силы;
Но зла промчится быстрый миг:
На время рок тебя постиг.
С надеждой, верою веселой
Иди на все, не унывай;
Вперед! мечом и грудью смелой
Свой путь на полночь пробивай.

Узнай, Руслан: твой оскорбитель
Волшебник страшный Черномор,
Красавиц давний похититель,
Полнощных обладатель гор.
Еще ничей в его обитель
Не проникал доныне взор;
Но ты, злых козней истребитель,
В нее ты вступишь, и злодей
Погибнет от руки твоей.
Тебе сказать не должен боле:
Судьба твоих грядущих дней,
Мой сын, в твоей отныне воле».

Наш витязь старцу пал к ногам
И в радости лобзает руку.
Светлеет мир его очам,
И сердце позабыло муку.
Вновь ожил он; и вдруг опять
На вспыхнувшем лице кручина...
«Ясна тоски твоей причина;
Но грусть не трудно разогнать, —
Сказал старик, — тебе ужасна
Любовь седого колдуна;
Спокойся, знай: она напрасна
И юной деве не страшна.
Он звезды сводит с небосклона,
Он свистнет — задрожит луна;
Но против времени закона

Его наука не сильна.
 Ревнивый, трепетный хранитель
 Замков безжалостных дверей,
 Он только немощный мучитель
 Прелестной пленницы своей.
 Вокруг нее он молча бродит,
 Клянет жестокий жребий свой...
 Но, добрый витязь, день проходит,
 А нужен для тебя покой».

Руслан на мягкий мох ложится
 Пред умирающим огнем;
 Он ищет позабыться сном,
 Вздыхает, медленно вертится...
 Напрасно! Витязь наконец:
 «Не спится что-то, мой отец!
 Что делать: болен я душою,
 И сон не в сон, как тошно жить.
 Позволь мне сердце освежить
 Твоей беседою святою.
 Прости мне дерзостный вопрос.
 Откройся: кто ты, благодатный,
 Судьбы наперсник непонятный?
 В пустыню кто тебя занес?»

Вздохнув с улыбкою печальной,
 Старик в ответ: «Любезный сын,
 Уж я забыл отчизны дальней
 Угрюмый край. Природный финн,
 В долинах, нам одним известных,
 Гоня стадо сел окрестных,
 В беспечной юности я знал
 Одни дремучие дубравы,
 Ручьи, пещеры наших скал
 Да дикой бедности забавы.
 Но жить в отрадной тишине
 Дано не долго было мне.

Тогда близ нашего селенья,
 Как милый цвет уединенья,
 Жила Наина. Меж подруг
 Она гремела красотою.
 Однажды утренней порою
 Свои стада на темный луг
 Я гнал, волынку надувая;
 Передо мной шумел поток.
 Одна, красавица младая
 На берегу плела венки.
 Меня влекла моя судьбина...
 Ах, витязь, то была Наина!
 Я к ней — и пламень роковой
 За дерзкий взор мне был наградой,
 И я любовь узнал душой
 С ее небесною отрадой,
 С ее мучительной тоской.

Умчалась года половина;
Я с трепетом открылся ей,
Сказал: люблю тебя, Наина.
Но робкой горести моей
Наина с гордостью внимала,
Лишь прелести свои любя,
И равнодушно отвечала:
«Пастух, я не люблю тебя!»

И все мне дико, мрачно стало:
Родная куща, тень дубров,
Веселы игры пастухов —
Ничто тоски не утешало.
В унынье сердце сохло, вяло.
И наконец задумал я
Оставить финские поля;
Морей неверные пучины
С дружиной братской переплыть
И бранной славой заслужить
Вниманье гордое Наины.
Я вызвал смелых рыбаков
Искать опасностей и злата.
Впервые тихий край отцов
Услышал бранный звук булата
И шум немирных челноков.
Я вдаль уплыл, надежды полный,
С толпой бесстрашных земляков;
Мы десять лет снега и волны
Багрили кровию врагов.
Молва неслась: цари чужбины
Страшились дерзости моей;
Их горделивые дружины
Бежали северных мечей.
Мы весело, мы грозно бились,
Делили дани и дары
И с побежденными садились
За дружелюбные пиры.
Но сердце, полное Наиной,
Под шумом битвы и пиров
Томилось тайною кручиной,
Искало финских берегов.
Пора домой, сказал я, други!
Повесим праздные кольчуги
Под сенью хижины родной.
Сказал — и весла зашумели;
И, страх оставя за собой,
В залив отчизны дорогой
Мы с гордой радостью влетели.

Сбылись давнишние мечты,
Сбылися пылкие желанья!
Минута сладкого свиданья,
И для меня блеснула ты!
К ногам красавицы надменной
Принес я меч окровавленный,

Кораллы, злато и жемчуг;
 Пред нею, страстью упоенный,
 Безмолвным роем окруженный
 Ее завистливых подруг,
 Стоял я пленником послушным;
 Но дева скрылась от меня,
 Примолвля с видом равнодушным:
 «Герой, я не люблю тебя!»

К чему рассказывать, мой сын,
 Чего пересказать нет силы?
 Ах, и теперь один, один,
 Душой уснув, в дверях могилы,
 Я помню горесть, и порой,
 Как о минувшем мысль родится,
 По бороде моей седой
 Слеза тяжелая катится.

Но слушай: в родине моей
 Между пустынных рыбаей
 Наука дивная таится.
 Под кровом вечной тишины,
 Среди лесов, в глуши далекой
 Живут седые колдуны;
 К предметам мудрости высокой
 Все мысли их устремлены;
 Все слышит голос их ужасный,
 Что было и что будет вновь,
 И грозной воле их подвластны
 И гроб и самая любовь.

И я, любви искатель жадный,
 Решился в грусти безотрадной
 Наину чарами привлечь
 И в гордом сердце девы холодной
 Любовь волшебствами зажечь.
 Спешил в объятия свободы,
 В уединенный мрак лесов;
 И там, в ученье колдунов,
 Провел невидимые годы.
 Настал давно желанный миг,
 И тайну страшную природы
 Я светлой мыслию постиг:
 Узнал я силу заклинаньям.
 Венец любви, венец желаньям!
 Теперь, Наина, ты моя!
 Победа наша, думал я.
 Но в самом деле победитель
 Был рок, упорный мой гонитель.

В мечтах надежды молодой,
 В восторге пылко желанья,
 Творю поспешно заклинанья,
 Зову духов — и в тьме лесной
 Стрела промчалась громовая,

Волшебный вихорь поднял вой,
Земля вздрогнула под ногой...
И вдруг сидит передо мной
Старушка дряхлая, седая,
Глазами впалыми сверкая,
С горбом, с трясушей головой,
Печальной ветхости картина.
Ах, витязь, то была Наина!..
Я ужаснулся и молчал,
Глазами страшный призрак мерил,
В сомненье все еще не верил
И вдруг заплакал, закричал:
«Возможно ль! ах, Наина, ты ли!
Наина, где твоя краса?
Скажи, ужели небеса
Тебя так страшно изменили?
Скажи, давно ль, оставя свет,
Расстался я с душой и с милой?
Давно ли?..» — «Ровно сорок лет, —
Был девы роковой ответ, —
Сегодня семьдесят мне било.
Что делать, — мне пишит она, —
Толпою годы пролетели.
Прошла моя, твоя весна —
Мы оба постареть успели.
Но, друг, послушай: не беда
Неверной младости утрата.
Конечно, я теперь седа,
Немножко, может быть, горбата;
Не то, что в старину была,
Не так жива, не так мила;
Зато (прибавила болтунья)
Открою тайну: я колдунья!»

И было в самом деле так.
Немой, недвижный перед нею,
Я совершенный был дурак
Со всей премудростью моею.

Но вот ужасно: колдовство
Вполне свершилось по несчастью.
Мое седое божество
Ко мне пылало новой страстью.
Скривив улыбкой страшный рот,
Могильным голосом урод
Бормочет мне любви признание.
Вообрази мое страданье!
Я трепетал, потупя взор;
Она сквозь кашель продолжала
Тяжелый, страстный разговор:
«Так, сердце я теперь узнала;
Я вижу, верный друг, оно
Для нежной страсти рождено;
Проснулись чувства, я стораю,
Томлюсь желаньями любви...

Приди в объятия мои...
О милый, милый! умираю...»

И между тем она, Руслан,
Мигала томными глазами;
И между тем за мой кафтан
Держалась тощими руками;
И между тем — я обмирал,
От ужаса зажмурия очи;
И вдруг терпеть не стало мочи;
Я с криком вырвался, бежал.
Она вослед: «О, недостойный!
Ты возмутил мой век спокойный,
Невинной девы ясны дни!
Добился ты любви Наины,
И презираешь — вот мужчины!
Изменой дышат все они!
Увы, сама себя вини;
Он обольстил меня, несчастный!
Я отдалась любви страстной...
Изменник, изверг! о позор!
Но трепещи, девичий вор!»

Так мы расстались. С этих пор
Живу в моем уединенье
С разочарованной душой;
И в мире старцу утешенье
Природа, мудрость и покой.
Уже зовет меня могила;
Но чувства прежние свои
Еще старушка не забыла
И пламя позднее любви
С досады в злобу превратила.
Душою черной зло любя,
Колдунья старая, конечно,
Возненавидит и тебя;
Но горе на земле не вечно».

Наш витязь с жадностью внимал
Рассказы старца; ясны очи
Дремотой легкой не смыкал
И тихого полета ночи
В глубокой думе не слышал.
Но день блистает лучезарный...
Со вздохом витязь благодарный
Объемлет старца-колдуна;
Душа надеждою полна;
Выходит вон. Ногами стиснул
Руслан заржавшего коня,
В седле оправился, присвистнул.
«Отец мой, не оставь меня».
И скачет по пустому лугу.
Седой мудрец младому другу
Кричит вослед: «Счастливым путем!»

Прости, люби свою супругу,
Советов старца не забудь!»

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Соперники в искусстве брани,
Не знайте мира меж собой;
Несите мрачной славе дани
И упивайтесь враждой!
Пусть мир пред вами цепенеет,
Дивясь грозным торжествам:
Никто о вас не пожалеет,
Никто не помешает вам.
Соперники другого рода,
Вы, рыцари парнасских гор,
Старайтесь не смешить народа
Нескромным шумом ваших ссор;
Бранитесь — только осторожно.
Но вы, соперники в любви,
Живите дружно, если можно!
Поверьте мне, друзья мои:
Кому судьбою неременной
Девичье сердце суждено,
Тот будет мил назло вселенной;
Сердиться глупо и грешно.

Когда Рогдай неукротимый,
Глухим предчувствием томимый,
Оставя спутников своих,
Пустился в край уединенный
И ехал меж пустынь лесных,
В глубокую думу погруженный, —
Злой дух тревожил и смущал
Его тоскующую душу,
И витязь пасмурный шептал:
«Убью!.. преграды все разрушу...
Руслан!.. узнаешь ты меня...
Теперь-то девица поплачет...»
И вдруг, поворотив коня,
Во весь опор назад он скачет.

В то время доблестный Фарлаф,
Все утро сладко продремав,
Укрывшись от лучей полдневных,
У ручейка, наедине,
Для подкрепленья сил душевных,
Обедал в мирной тишине.
Как вдруг он видит: кто-то в поле,
Как буря, мчится на коне;
И, времени не тратя боле,
Фарлаф, покинув свой обед,
Копье, кольчугу, шлем, перчатки,
Вскочил в седло и без оглядки
Летит — а тот за ним вослед.
«Остановись, беглец бесчестный! —

Кричит Фарлафу неизвестный. —
 Презренный, дай себя догнать!
 Дай голову с тебя сорвать!»
 Фарлаф, узнавши глас Рогдая,
 Со страха скорчась, обмирал
 И, верной смерти ожидая,
 Коня еще быстрее гнал.
 Так точно заяц торопливый,
 Прижавши уши боязливо,
 По кочкам, полем, сквозь леса
 Скачками мчится ото пса.
 На месте славного побега
 Весной растопленного снега
 Потоки мутные текли
 И рыли влажную грудь земли.
 Ко рву примчался конь ретивый,
 Взмахнул хвостом и белой гривой,
 Бразды стальные закусил
 И через ров перескочил;
 Но робкий всадник вверх ногами
 Свалился тяжело в грязный ров,
 Земли не взвидел с небесами
 И смерть принять уж был готов.
 Рогдай к оврагу подлетает;
 Жестокий меч уж занесен;
 «Погибни, трус! умри!» — вещает...
 Вдруг узнает Фарлафа он;
 Глядит, и руки опустились;
 Досада, изумленье, гнев
 В его чертах изобразились;
 Скрыпя зубами, онемев,
 Герой, с поникшею главою
 Скорей отъехав ото рва,
 Бесился... но едва, едва
 Сам не смеялся над собою.

Тогда он встретил под горой
 Старушечку чуть-чуть живую,
 Горбатую, совсем седую.
 Она дорожную клюкой
 Ему на север указала.
 «Ты там найдешь его», — сказала.
 Рогдай весельем закипел
 И к верной смерти полетел.

А наш Фарлаф? Во рву остался,
 Дохнуть не смея; про себя
 Он, лежа, думал: жив ли я?
 Куда соперник злой девался?
 Вдруг слышит прямо над собой
 Старухи голос гробовой:
 «Встань, молодец: все тихо в поле;
 Ты никого не встретишь боле;
 Я привела тебе коня;
 Вставай, послушайся меня».

Смущенный витязь поневоле
Ползком оставил грязный ров;
Окрестность робко озирая,
Вздыхнул и молвил оживая:
«Ну, слава богу, я здоров!»

«Поверь! — старуха продолжала. —
Людмилу мудрено сыскать;
Она далеко убежала;
Не нам с тобой ее достать.
Опасно разъезжать по свету;
Ты, право, будешь сам не рад.
Последуй моему совету,
Ступай тихохонько назад.
Под Киевом, в уединенье,
В своем наследственном селенье
Останься лучше без забот:
От нас Людмила не уйдет».

Сказав, исчезла. В нетерпенье
Благодарный наш герой
Тотчас отправился домой,
Сердечно позабыв о славе
И даже о княжне младой;
И шум малейший по дубраве,
Полет синицы, ропот вод
Его бросали в жар и в пот.

Меж тем Руслан далеко мчится;
В глуши лесов, в глуши полей
Привычной думою стремится
К Людмиле, радости своей,
И говорит: «Найду ли друга?
Где ты, души моей супруга?
Увижу ль я твой светлый взор?
Услышу ль нежный разговор?
Иль суждено, чтоб чародея
Ты вечной пленницей была
И, скорбной девою старея,
В темнице мрачной отцвела?
Или соперник дерзновенный
Придет?.. Нет, нет, мой друг бесценный:
Еще при мне мой верный меч,
Еще глава не пала с плеч».

Однажды, темною порою,
По камням берегом крутым
Наш витязь ехал над рекою.
Все утихало. Вдруг за ним
Стрелы мгновенное жужжанье,
Кольчуги звон, и крик, и ржанье,
И топот по полю глухой.
«Стоить!» — грянул голос громовой.
Он оглянулся: в поле чистом,
Подняв копые, летит со свистом

Свирепый всадник, и грозой
 Помчался князь ему навстречу.
 «Ага! догнал тебя! постой! —
 Кричит наездник удалой. —
 Готовься, друг, на смертну сечу;
 Теперь ложись средь здешних мест;
 А там ищи своих невест».
 Руслан вспылал, вздрогнул от гнева;
 Он узнает сей буйный глас...

Друзья мои! а наша дева?
 Оставим витязей на час;
 О них опять я вспомню вскоре.
 А то давно пора бы мне
 Подумать о молодой княжне
 И об ужасном Черноморе.

Моей причудливой мечты
 Наперсник иногда нескромный,
 Я рассказал, как ночью темной
 Людмилы нежной красоты
 От воспаленного Руслана
 Сокрылись вдруг среди тумана.
 Несчастливая! когда злодей,
 Рукою мощною своей
 Тебя сорвав с постели брачной,
 Взвился, как вихорь, к облакам
 Сквозь тяжкий дым и воздух мрачный
 И вдруг умчал к своим горам —
 Ты чувств и памяти лишилась
 И в страшном замке колдуна,
 Безмолвна, трепетна, бледна,
 В одно мгновенье очутилась.

С порога хижины моей
 Так видел я, средь летних дней,
 Когда за курицей трусливой
 Султан курятника спесивый,
 Петух мой по двору бежал
 И сладострастными крылами
 Уже подругу обнимал;
 Над ними хитрыми кругами
 Цыплят селенья старый вор,
 Прияв губительные меры,
 Носился, плавал коршун серый
 И пал как молния на двор.
 Взвился, летит. В когтях ужасных
 Во тьму расселин безопасных
 Уносит бедную злодей.
 Напрасно, горестью своей
 И хладным страхом пораженный,
 Зовет любовницу петух...
 Он видит лишь летучий пух,
 Летучим ветром занесенный.

До утра юная княжна
Лежала, тягостным забвеньем,
Как будто страшным сновиденьем,
Объята — наконец она
Очнулась, пламенным волненьем
И смутным ужасом полна;
Душой летит за наслажденьем,
Кого-то ищет с упоеньем;
«Где ж милый, — шепчет, — где супруг?»
Зовет и помертвела вдруг.
Глядит с боязнию вокруг.
Людмила, где твоя светлица?
Лежит несчастная девица
Среди подушек пуховых,
Под гордой сенью балдахина;
Завесы, пышная перина
В кистях, в узорах дорогих;
Повсюду ткани парчевые;
Играют яхонты, как жар;
Кругом курильницы золотые
Подъемлют ароматный пар;
Довольно... благо мне не надо
Описывать волшебный дом:
Уже давно Шехеразада
Меня предупредила в том.
Но светлый терем не отрада,
Когда не видим друга в нем.

Три девы, красоты чудесной,
В одежде легкой и прелестной
Княжне явились, подошли
И поклонились до земли.
Тогда неслышными шагами
Одна поближе подошла;
Княжне воздушными перстами
Златую косу заплела
С искусством, в наши дни не новым,
И обвила венцом перловым
Окружность бледного чела.
За нею, скромно взор склоняя,
Потом приблизилась другая;
Лазурный, пышный сарафан
Одел Людмилы стройный стан;
Покрылись кудри золотые,
И грудь, и плечи молодые
Фатой, прозрачной, как туман.
Покров завистливый лобзает
Красы, достойные небес,
И обувь легкая сжимает
Две ножки, чудо из чудес.
Княжне последняя девица
Жемчужный пояс подает.
Меж тем незримая певица
Веселы песни ей поет.
Увы, ни камни ожерелья,

Ни сарафан, ни перлов ряд,
 Ни песни лести и веселья
 Ее души не веселят;
 Напрасно зеркало рисует
 Ее красы, ее наряд:
 Потупя неподвижный взгляд,
 Она молчит, она тоскует.

Те, кои, правду возлюбя,
 На темном сердца дне читали,
 Конечно, знают про себя,
 Что если женщина в печали
 Сквозь слез, украдкой, как-нибудь,
 Назло привычке и рассудку,
 Забудет в зеркало взглянуть, —
 То грустно ей уж не на шутку.

Но вот Людмила вновь одна.
 Не зная, что начать, она
 К окну решетчату подходит,
 И взор ее печально бродит
 В пространстве пасмурной дали.
 Все мертво. Снежные равнины
 Коврами яркими легли;
 Стоят угрюмых гор вершины
 В однообразной белизне
 И дремлют в вечной тишине;
 Кругом не видно дымной кровли,
 Не видно путника в снегах,
 И звонкий рог веселой ловли
 В пустынных не трубит горах;
 Лишь изредка с унылым свистом
 Бунтует вихорь в поле чистом
 И на краю седых небес
 Качает обнаженный лес.

В слезах отчаянья, Людмила
 От ужаса лицо закрыла.
 Увы, что ждет ее теперь!
 Бежит в серебряную дверь;
 Она с музыкой отворилась,
 И наша дева очутилась
 В саду. Пленительный предел:
 Прекраснее садов Армиды
 И тех, которыми владел
 Царь Соломон иль князь Тавриды.
 Пред нею зыблются, шумят
 Великолепные дубровы;
 Аллеи пальм, и лес лавровый,
 И благовонных миртов ряд,
 И кедров гордые вершины,
 И золотые апельсины
 Зерцалом вод отражены;
 Пригорки, роши и долины
 Весны огнем оживлены;

С прохладой вьется ветер майский
Средь очарованных полей,
И свищет соловей китайский
Во мраке трепетных ветвей;
Летят алмазные фонтаны
С веселым шумом к облакам:
Под ними блещут истуканы
И, мнится, живы; Фидий сам,
Питомец Феба и Паллады,
Любуясь ими, наконец,
Свой очарованный резец
Из рук бы выронил с досады.
Дробясь о мраморны преграды,
Жемчужной, огненной дугой
Валяются, плещут водопады;
И ручейки в тени лесной
Чуть вьются сонною волной.
Приют покоя и прохлады,
Сквозь вечну зелень здесь и там
Мелькают светлые беседки;
Повсюду роз живые ветки
Цветут и дышат по тропам.
Но безутешная Людмила
Идет, идет и не глядит;
Волшебства роскошь ей постыла,
Ей грустен неги светлый вид;
Куда, сама не зная, бродит,
Волшебный сад кругом обходит,
Свободу горьким дав слезам,
И взоры мрачные возводит
К неумолимым небесам.
Вдруг осветился взор прекрасный:
К устам она прижала перст;
Казалось, умысел ужасный
Рождался... Страшный путь отверст:
Высокий мостик над потоком
Пред ней висит на двух скалах;
В унынье тяжком и глубоком
Она подходит — и в слезах
На воды шумные взглянула,
Ударила, рыдая, в грудь,
В волнах решилась утонуть —
Однако в воды не прыгнула
И дале продолжала путь.

Моя прекрасная Людмила,
По солнцу бегая с утра,
Устала, слезы осушила,
В душе подумала: пора!
На травку села, оглянулась —
И вдруг над нею сень шатра,
Шумя, с прохладой развернулась;
Обед роскошный перед ней;
Прибор из яркого кристалла;
И в тишине из-за ветвей

Незрима арфа заиграла.
 Дивится пленная княжна,
 Но втайне думает она:
 «Вдали от милого, в неволе,
 Зачем мне жить на свете боле?
 О ты, чья гибельная страсть
 Меня терзает и лелеет,
 Мне не страшна злодея власть:
 Людмила умереть умеет!
 Не нужно мне твоих шатров,
 Ни скучных песен, ни пиров —
 Не стану есть, не буду слушать,
 Умру среди твоих садов!»
 Подумала — и стала кушать.

Княжна встает, и вмиг шатер,
 И пышной роскоши прибор,
 И звуки арфы... все пропало;
 По-прежнему все тихо стало;
 Людмила вновь одна в садах
 Скитается из рощи в рощи;
 Меж тем в лазурных небесах
 Плывет луна, царица ноши,
 Находит мгла со всех сторон
 И тихо на холмах почила;
 Княжну невольно клонит сон,
 И вдруг неведомая сила
 Нежней, чем вешний ветерок,
 Ее на воздух поднимает,
 Несет по воздуху в чертог
 И осторожно опускает
 Сквозь фициам вечерних роз
 На ложе грусти, ложе слез.
 Три девы вмиг опять явились
 И вокруг нее засуетились,
 Чтоб на ночь пышный снять убор;
 Но их унылый, смутный взор
 И принужденное молчанье
 Являли втайне состраданье
 И немощный судьбам укор.
 Но поспешим: рукой их нежной
 Раздета сонная княжна;
 Прелестна прелестью небрежной,
 В одной сорочке белоснежной
 Ложится почивать она.
 Со вздохом девы поклонились,
 Скорей как можно удалились
 И тихо притворили дверь.
 Что ж наша пленница теперь!
 Дрожит как лист, дохнуть не смеет;
 Хладеют перси, взор темнеет;
 Мгновенный сон от глаз бежит,
 Не спит, удвоила вниманье,
 Недвижно в темноту глядит...
 Все мрачно, мертвое молчанье!

Лишь сердца слышит трепетанье...
И мнится... шепчет тишина,
Идут — идут к ее постели;
В подушки прячется княжна —
И вдруг... о страх!.. и в самом деле
Раздался шум; озарена
Мгновенным блеском тьма ночная,
Мгновенно дверь отворена;
Безмолвно, гордо выступая,
Нагими саблями сверкая,
Арапов длинный ряд идет
Попарно, чинно, сколь возможно,
И на подушках осторожно
Седую бороду несет;
И входит с важностью за нею,
Подъяв величественно шею,
Горбатый карлик из дверей:
Его-то голове обритой,
Высоким колпаком покрытой,
Принадлежала борода.
Уж он приблизился: тогда
Княжна с постели соскочила,
Седого карлу за колпак
Рукою быстрой ухватила,
Дрожащий занесла кулак
И в страхе завизжала так,
Что всех арапов оглушила.
Трепеща, скорчился бедняк,
Княжны испуганной бледнее;
Зажавши уши поскорее,
Хотел бежать, но в бороде
Запутался, упал и бьется;
Встает, упал; в такой беде
Арапов черный рой мятется;
Шумят, толкаются, бегут,
Хватают колдуна в охапку
И вон распутывать несут,
Оставя у Людмилы шапку.

Но что-то добрый витязь наш?
Вы помните ль нежданну встречу?
Бери свой быстрый карандаш,
Рисуй, Орловский, ночь и сечу!
При свете трепетном луны
Сразились витязи жестоко;
Сердца их гневом стеснены,
Уж копья брошены далеко,
Уже мечи раздроблены,
Кольчуги кровию покрыты,
Щиты трещат, в куски разбиты...
Они схватились на конях;
Взрывая к небу черный прах,
Под ними борзы кони бьются;
Борцы, недвижно сплетены,
Друг друга стиснув, остаются,

Как бы к седлу пригвождены;
 Их члены злобой сведены;
 Переплелись и костенеют;
 По жилам быстрый огонь бежит;
 На вражьей груди грудь дрожит —
 И вот колеблются, слабеют —
 Кому-то пасть... вдруг витязь мой,
 Вскипев, железною рукой
 С седла наездника срывает,
 Подъемлет, держит над собой
 И в волны с берега бросает.
 «Погибни! — грозно восклицает. —
 Умри, завистник злобный мой!»

Ты догадался, мой читатель,
 С кем бился доблестный Руслан:
 То был кровавых битв искатель,
 Рогдай, надежда киевлян,
 Людмила мрачный обожатель.
 Он вдоль днепровских берегов
 Искал соперника следов;
 Нашел, настиг, но прежня сила
 Питомцу битвы изменила,
 И Руси древний удалец
 В пустыне свой нашел конец.
 И слышно было, что Рогдая
 Тех вод русалка молодая
 На хладны перси приняла
 И, жадно витязя лобзая,
 На дно со смехом увлекла,
 И долго после, ночью темной
 Бродя близ тихих берегов,
 Богатыря призрак огромный
 Пугал пустынных рыбаков.

ПЕСНЬ ТРЕТИЯ

Напрасно вы в тени таились
 Для мирных, счастливых друзей,
 Стихи мои! Вы не сокрылись
 От гневных зависти очей.
 Уж бледный критик, ей в услугу,
 Вопрос мне сделал роковой:
 Зачем Русланову подругу,
 Как бы на смех ее супругу,
 Зову и девой и княжной?
 Ты видишь, добрый мой читатель,
 Тут злобы черную печать!
 Скажи, Зоил, скажи, предатель,
 Ну как и что мне отвечать?
 Красней, несчастный, бог с тобою!
 Красней, я спорить не хочу;
 Довольный тем, что прав душою,
 В смиренной кротости молчу.
 Но ты поймешь меня, Климена,

Потупишь томные глаза,
 Ты, жертва скучного Гимена...
 Я вижу: тайная слеза
 Падет на стих мой, сердцу вмятнный;
 Ты покраснела, взор погас;
 Вдохнула молча... вздох понятный!
 Ревнивец: бойся, близок час;
 Амур с Досадой своенравной
 Вступили в смелый заговор,
 И для главы твоей бесславной
 Готов уж мстительный убор.

Уж утро хладное сияло
 На темени полнощных гор;
 Но в дивном замке все молчало.
 В досаде скрытой Черномор,
 Без шапки, в утреннем халате,
 Зевал сердито на кровати.
 Вокруг брады его седой
 Рабы толпились молчаливы,
 И нежно гребень костяной
 Расчесывал ее извивы;
 Меж тем, для пользы и красоты,
 На бесконечные усы
 Лились восточны ароматы,
 И кудри хитрые вились;
 Как вдруг, откуда ни возьмись,
 В окно влетает змий крылатый;
 Гремя железной чешуей,
 Он в кольца быстрые согнулся
 И вдруг Наиной обернулся
 Пред изумленною толпой.
 «Приветствую тебя, — сказала, —
 Собрат, издавна чтимый мной!
 Досель я Черномора знала
 Одною громкою молвой;
 Но тайный рок соединяет
 Теперь нас общею враждой;
 Тебе опасность угрожает,
 Нависла туча над тобой;
 И голос оскорбленной чести
 Меня к отмщению зовет».

Со взором, полным хитрой лести,
 Ей карла руку подает,
 Вещая: «Дивная Наина!
 Мне драгоценен твой союз.
 Мы посрадим коварство Финна;
 Но мрачных козней не боюсь:
 Противник слабый мне не страшен;
 Узнай чудесный жребий мой:
 Сей благодатной бородой
 Недаром Черномор украшен.
 Доколь волосов ее седых
 Враждебный меч не перерубит,

Никто из витязей лихих,
 Никто из смертных не погубит
 Малейших замыслов моих;
 Моею будет век Людмила,
 Руслан же гробу обречен!»
 И мрачно ведьма повторила:
 «Погибнет он! погибнет он!»
 Потом три раза прошипела,
 Три раза топнула ногой
 И черным змием улетела.

Блестя в ризе парчевой,
 Колдун, колдуньей ободренный,
 Развеселясь, решил в вновь
 Нести к ногам девицы пленной
 Усы, покорность и любовь.
 Разряжен карлик бородатый,
 Опять идет в ее палаты;
 Проходит длинный комнат ряд:
 Княжны в них нет. Он дале, в сад,
 В лавровый лес, к решетке сада,
 Вдоль озера, вокруг водопада,
 Под мостики, в беседки... нет!
 Княжна ушла, пропал и след!
 Кто выразит его смущенье,
 И рев, и трепет исступленья?
 С досады дня не взвидел он.
 Раздался карлы дикий стон:
 «Сюда, невольники, бегите!
 Сюда, надеюсь я на вас!
 Сейчас Людмилу мне сыщите!
 Скорее, слышите ль? сейчас!
 Не то — шутите вы со мною —
 Всех удавлю вас бороною!»

Читатель, расскажу ль тебе,
 Куда красавица девалась?
 Всю ночь она своей судьбе
 В слезах дивилась и — смеялась.
 Ее пугала борода,
 Но Черномор уж был известен,
 И был смешон, а никогда
 Со смехом ужас несовместен.
 Навстречу утренним лучам
 Постель оставила Людмила
 И взор невольный обратила
 К высоким, чистым зеркалам;
 Невольно кудри золотые
 С лилейных плеч приподняла;
 Невольно волосы густые
 Рукой небрежной заплела;
 Свои вчерашние наряды
 Нечаянно в углу нашла;
 Вздыхнув, оделась и с досады
 Тихонько плакать начала;

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

РОМАН В СТИХАХ

Pétri de vanité il avait encore plus de
cette espèce d'orgueil qui fait avouer
avec la même indifférence les bonnes
comme les mauvaises actions, suite
d'un sentiment de supériorité
peut-être imaginaire.

Tire d'une lettre particulière.

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты;
Но так и быть — рукой пристрастной
Прими собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

И жить торопится и чувствовать
спешит.

Кн. Вяземский

I

«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,

Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»

II

Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных.
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на берегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня¹.

III

Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
Судьба Евгения хранила:
Сперва *Madame* за ним ходила,
Потом *Monsieur* ее сменил.
Ребенок был резов, но мил.
Monsieur l'Abbé, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил.

IV

Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,
Monsieur прогнали со двора.
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде,
Как *dandy*² лондонский одет —
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;

¹ Писано в Бессарабии.

² Dandy — франт.

Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.

V

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
Онегин был по мнению многих
(Судей решительных и строгих)
Ученый малый, но педант:
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.

VI

Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать,
Он знал довольно по-латыни,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить *vale*,
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.
Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли;
Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей.

VII

Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконоом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда *простой продукт* имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.

VIII

Всего, что знал еще Евгений,
Пересказать мне недосуг;

Но в чем он истинный был гений,
 Что знал он тверже всех наук,
 Что было для него измлада
 И труд, и мука, и отрада,
 Что занимало целый день
 Его тоскующую лень, —
 Была наука страсти нежной,
 Которую воспел Назон,
 За что страдальцем кончил он
 Свой век блестящий и мятежный
 В Молдавии, в глуши степей,
 Вдали Италии своей.

IX

.....

X

Как рано мог он лицемерить,
 Таить надежду, ревновать,
 Разуверять, заставить верить,
 Казаться мрачным, изнывать,
 Являться гордым и послушным,
 Внимательным иль равнодушным!
 Как томно был он молчалив,
 Как пламенно красноречив,
 В сердечных письмах как небрежен!
 Одним дыша, одно любя,
 Как он умел забыть себя!
 Как взор его был быстр и нежен,
 Стыдлив и дерзок, а порой
 Блестал послушною слезой!

XI

Как он умел казаться новым,
 Шутя невинность изумлять,
 Пугать отчаяньем готовым,
 Приятной лестью забавлять,
 Ловить минуту умиленья,
 Невинных лет предубежденья
 Умом и страстью побеждать,
 Невольной ласки ожидать,
 Молить и требовать признанья,
 Подслушать сердца первый звук,
 Преследовать любовь, и вдруг
 Добиться тайного свиданья...
 И после ей наедине
 Давать уроки в тишине!

XII

Как рано мог уж он тревожить
 Сердца кокеток записных!

Когда ж хотелось уничтожить
 Ему соперников своих,
 Как он язвительно злословил!
 Какие сети им готовил!
 Но вы, блаженные мужья,
 С ним оставались вы друзья:
 Его ласкал супруг лукавый,
 Фобласа давний ученик,
 И недоверчивый старик,
 И рогоносец величавый,
 Всегда довольный сам собой,
 Своим обедом и женой.

XIII. XIV

.....

XV

Бывало, он еще в постеле:
 К нему записочки несут.
 Что? Приглашенья? В самом деле,
 Три дома на вечер зовут:
 Там будет бал, там детский праздник.
 Куда ж поскачет мой проказник?
 С кого начнет он? Все равно:
 Везде поспеть немудрено.
 Покамест в утреннем уборе,
 Надев широкий *боливар*¹,
 Онегин едет на бульвар
 И там гуляет на просторе,
 Пока дремлющий брежет
 Не прозвонит ему обед.

XVI

Уж темно: в санки он садится.
 «Пади, пади!» — раздался крик;
 Морозной пылью серебрится
 Его бобровый воротник.
 К *Talon*² помчался: он уверен,
 Что там уж ждет его Каверин.
 Вошел: и пробка в потолок,
 Вина кометы брызнул ток;
 Пред ним *roast-beef* окровавленный,
 И трюфли, роскошь юных лет,
 Французской кухни лучший цвет,
 И Страсбурга пирог нетленный
 Меж сыром лимбургским живым
 И ананасом золотым.

¹ Шляпа à la Bolivar.

² Известный ресторатор.

XVII

Еще бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет,
Но звон брегета им доносит,
Что новый начался балет.
Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру,
Где каждый, вольностью дыша,
Готов охлопать *entrechat*,
Обшикать Федру, Клеопатру,
Моину вызвать (для того,
Чтоб только слышали его).

XVIII

Волшебный край! там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил;
Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло венчался славой,
Там, там под сению кулис
Младые дни мои неслись.

XIX

Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Все те же ль вы? другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?
Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зевать
И о былом воспоминать?

XX

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла — все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.

Блистательна, полувоздушна,
 Смычку волшебному послушна,
 Толпою нимф окружена,
 Стоит Истомина; она,
 Одной ногой касаясь пола,
 Другую медленно кружит,
 И вдруг прыжок, и вдруг летит,
 Летит, как пух от уст Эола;
 То стан совет, то разовьет
 И быстрой ножкой ножку бьет.

XXI

Всё хлопает. Онегин входит,
 Идет меж кресел по ногам,
 Двойной лорнет скосясь наводит
 На ложи незнакомых дам;
 Все ярусы окинул взором,
 Всё видел: лицами, убором
 Ужасно недоволен он;
 С мужчинами со всех сторон
 Раскланялся, потом на сцену
 В большом рассеяньи взглянул,
 Отворотился — и зевнул,
 И молвил: «Всех пора на смену;
 Балеты долго я терпел,
 Но и Дидло мне надоел»¹.

XXII

Еще амуры, черти, змеи
 На сцене скачут и шумят;
 Еще усталые лакеи
 На шубах у подъезда спят;
 Еще не перестали топать,
 Сморгаться, кашлять, шикать, хлопать;
 Еще снаружи и внутри
 Везде блистают фонари;
 Еще, прозябнув, бьются кони,
 Наскуча упряжью своей,
 И кучера, вокруг огней,
 Бранят господ и бьют в ладони —
 А уж Онегин вышел вон;
 Домой одеться едет он.

XXIII

Изобразу ль в картине верной
 Уединенный кабинет,
 Где мод воспитанник примерный
 Одет, раздет и вновь одет?
 Всё, чем для прихоти обильной
 Торгует Лондон шепетильный

¹ Черта охлажденного чувства, достойная Чальд-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе.

И по Балтийским волнам
 За лес и сало возит нам,
 Всё, что в Париже вкус голодный,
 Полезный промысел избрав,
 Изобретает для забав,
 Для роскоши, для неги модной, —
 Всё украшало кабинет
 Философа в осьмнадцать лет.

XXIV

Янтарь на трубках Цареграда,
 Фарфор и бронза на столе,
 И, чувств изнеженных отрада,
 Духи в граненом хрустале;
 Гребенки, пилочки стальные,
 Прямые ножницы, кривые
 И щетки тридцати родов
 И для ногтей и для зубов.
 Руссо (замечу мимоходом)
 Не мог понять, как важный Грим
 Смел чистить ногти перед ним,
 Красноречивым сумасбродом¹.
 Защитник вольности и прав
 В сем случае совсем неправ.

XXV

Быть можно дельным человеком
 И думать о красе ногтей:
 К чему бесплодно спорить с веком?
 Обычай деспот меж людей.
 Второй Чадаев, мой Евгений,
 Боясь ревнивых осуждений,
 В своей одежде был педант
 И то, что мы назвали франт.
 Он три часа по крайней мере
 Пред зеркалами проводил
 И из уборной выходил
 Подобный ветреной Венере,
 Когда, надев мужской наряд,
 Богиня едет в маскарад.

XXVI

В последнем вкусе туалетом
 Заняв ваш любопытный взгляд,
 Я мог бы пред ученым светом
 Здесь описать его наряд;
 Конечно б это было смело,
 Описывать мое же дело:
 Но *панталоны, фрак, жилет*,
 Всех этих слов на русском нет;
 А вижу я, винюсь пред вами,
 Что уж и так мой бедный слог

¹ Грим опередил свой век: ныне во всей просвещенной Европе чистят ногти особенной щеточкой.

Пестреть гораздо б меньше мог
 Иноплеменными словами,
 Хоть и заглядывал я встарь
 В Академический Словарь.

XXVII

У нас теперь не то в предмете:
 Мы лучше поспешим на бал,
 Куда стремглав в ямской карете
 Уж мой Онегин поскакал.
 Перед померкшими домами
 Вдоль сонной улицы рядами
 Двойные фонари карет
 Веселый изливают свет
 И радуги на снег наводят;
 Усеян площадками кругом,
 Блестит великолепный дом;
 По цельным окнам тени ходят,
 Мелькают профили голов
 И дам и модных чудаков.

XXVIII

Вот наш герой подъехал к сеним;
 Швейцара мимо он стрелой
 Взлетел по мраморным ступеням,
 Расправил волоса рукой,
 Вошел. Полна народу зала;
 Музыка уж греметь устала;
 Толпа мазуркой занята;
 Кругом и шум и теснота;
 Бренчат кавалергарда шпоры;
 Летают ножки милых дам;
 По их пленительным следам
 Летают пламенные взоры,
 И ревом скрыпок заглушен
 Ревнивый шепот модных жен.

XXIX

Во дни веселий и желаний
 Я был от балов без ума:
 Верней нет места для признаний
 И для вручения письма.
 О вы, почтенные супруги!
 Вам предложу свои услуги;
 Прошу мою заметить речь:
 Я вас хочу предостеречь.
 Вы также, маменьки, построже
 За дочерьми смотрите вслед:
 Держите прямо свой лорнет!
 Не то... не то, избави Боже!
 Я это потому пишу,
 Что уж давно я не грешу.

XXX

Увы, на разные забавы
Я много жизни погубил!
Но если б не страдали нравы,
Я балы б до сих пор любил.
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманый наряд;
Люблю их ножки; только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног.
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки... Грустный, охладелый,
Я все их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.

XXXI

Когда ж и где, в какой пустыне,
Безумец, их забудешь ты?
Ах, ножки, ножки! где вы ныне?
Где мнете вешние цветы?
Взлелеяны в восточной неге,
На северном, печальном снеге
Вы не оставили следов:
Любили мягких вы ковров
Роскошное прикосновенье.
Давно ль для вас я забывал
И жажду славы и похвал,
И край отцов, и заточенье?
Исчезло счастье юных лет,
Как на лугах ваш легкий след.

XXXII

Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня.
Она, пророчествуя взгляду
Неоцененную награду,
Влечет условною красой
Желаний своевольный рой.
Люблю ее, мой друг Эльвина,
Под длинной скатертью столов,
Весной на мураве лугов,
Зимой на чугуне камина,
На зёркальном паркете зал,
У моря на граните скал.

XXXIII

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!

Как я желал тогда с волнами
 Коснуться милых ног устами!
 Нет, никогда средь пылких дней
 Кипящей младости моей
 Я не желал с таким мученьем
 Лобзать уста молодых Армид,
 Иль розы пламенных ланит,
 Иль перси, полные томленьем;
 Нет, никогда порыв страстей
 Так не терзал души моей!

XXXIV

Мне памятно другое время!
 В заветных иногда мечтах
 Держу я счастливое стремя...
 И ножку чувствую в руках;
 Опять кипит воображенье,
 Опять ее прикосновенье
 Зажгло в увядшем сердце кровь,
 Опять тоска, опять любовь!..
 Но полно прославлять надменных
 Болтливой лирою своей;
 Они не стоят ни страстей,
 Ни песен, ими вдохновенных:
 Слова и взор волшебниц сих
 Обманчивы... как ножки их.

XXXV

Что ж мой Онегин? Полусонный
 В постелю с бала едет он:
 А Петербург неугомонный
 Уж барабаном пробужден.
 Встает купец, идет разносчик,
 На биржу тянется извозчик,
 С кувшином охтенка спешит,
 Под ней снег утренний хрустит.
 Проснулся утра шум приятный.
 Открыты ставни; трубный дым
 Столбом восходит голубым,
 И хлебник, немец аккуратный,
 В бумажном колпаке, не раз
 Уж отворял свой *vasisdas*.

XXXVI

Но, шумом бала утомленный
 И утро в полночь обратя,
 Спокойно спит в тени блаженной
 Забав и роскоши дитя.
 Проснется за полдень, и снова
 До утра жизнь его готова,
 Однообразна и пестра.
 И завтра то же, что вчера.
 Но был ли счастлив мой Евгений,

Свободный, в цвете лучших лет,
Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?
Вотще ли был он средь пиров
Неосторожен и здоров?

XXXVII

Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго были
Предмет его привычных дум;
Измены утомить успели;
Друзья и дружба надоели,
Затем, что не всегда же мог
Beef-steaks и страсбургский пирог
Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острые слова,
Когда болела голова;
И хоть он был повеса пылкой,
Но разлюбил он наконец
И брань, и саблю, и свинец.

XXXVIII

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому *сплину*,
Короче: русская *хандра*
Им овладела понемногу;
Он застрелиться, слава богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел.
Как *Child-Harold*, угрюмый, томный
В гостиных появлялся он;
Ни сплетни света, ни бостон,
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замечал он ничего.

XXXIX. XL. XLI

.....
.....
.....

XLII

Причудницы большого света!
Всех прежде вас оставил он;
И правда то, что в наши лета
Довольно скучен высший тон;
Хоть, может быть, иная дама
Толкует Сея и Бентама,
Но вообще их разговор
Несносный, хоть невинный вздор;
К тому ж они так непорочны,

Так величавы, так умны,
 Так благочестия полны,
 Так осмотрительны, так точны,
 Так неприступны для мужчин,
 Что вид их уж рождает *сплин*¹.

XLIII

И вы, красотки молодые,
 Которых позднею порой
 Уносят дрожки удалые
 По петербургской мостовой,
 И вас покинул мой Евгений.
 Отступник бурных наслаждений,
 Онегин дома заперся,
 Зевая, за перо взялся,
 Хотел писать — но труд упорный
 Ему был тошен; ничего
 Не вышло из пера его,
 И не попал он в цех задорный
 Людей, о коих не сужу,
 Затем, что к ним принадлежу.

XLIV

И снова, преданный безделью,
 Томясь душевной пустотой,
 Уселся он — с похвальной целью
 Себе присвоить ум чужой;
 Отрядом книг уставил полку,
 Читал, читал, а все без толку:
 Там скука, там обман иль бред;
 В том совести, в том смысла нет;
 На всех различные вериги;
 И устарела старина,
 И старым бредит новизна.
 Как женщин, он оставил книги,
 И полку, с пыльной их семьей,
 Задернул траурной тафтой.

XLV

Условий света свергнув бремя,
 Как он, отстав от суеты,
 С ним подружился я в то время.
 Мне нравились его черты,
 Мечтам невольная преданность,
 Неподражательная странность
 И резкий, охлажденный ум.
 Я был озлоблен, он угрюм;
 Страстей игру мы знали оба;
 Томила жизнь обоих нас;

¹ Вся сия ироническая строфа не что иное, как тонкая похвала прекрасным нашим соотечественникам. Так Буало, под видом укоризны, хвалит Людовика XIV. Наши дамы соединяют просвещение с любезностью и строгую чистоту нравов с этою восточною прелестью, столь пленившей г-жу Сталь. (См. Dix années d'exil.)

В обоих сердца жар угас;
 Обоих ожидала злоба
 Слепой Фортуны и людей
 На самом утре наших дней.

XLVI

Кто жил и мыслил, тот не может
 В душе не презирать людей;
 Кто чувствовал, того тревожит
 Призрак невозвратимых дней:
 Тому уж нет очарований,
 Того змия воспоминаний,
 Того раскаянье грызет.
 Всё это часто придает
 Большую прелесть разговору.
 Сперва Онегина язык
 Меня смущал; но я привык
 К его язвительному спору,
 И к шутке, с желчью пополам,
 И злости мрачных эпиграмм.

XLVII

Как часто летнею порою,
 Когда прозрачно и светло
 Ночное небо над Невой¹
 И вод веселое стекло
 Не отражает лик Дианы,
 Воспомня прежних лет романы,
 Воспомня прежнюю любовь,
 Чувствительны, беспечны вновь,

¹ Читатели помнят прелестное описание петербургской ночи в идиллии Гнедича:
 «Вот ночь; но не меркнут златистые полосы облак.
 Без звезд и без месяца вся озаряется дальность.
 На взморье далеком серебристые видны ветрила
 Чуть видных судов, как по синему небу плывущих.
 Сияньем бессумрачным небо ночное сияет,
 И пурпур заката сливается с золотом востока:
 Как будто денница за вечером следом выводит
 Румяное утро. — Была то година златая,
 Как летние дни похищают владычество ночи;
 Как взор иноземца на северном небе пленяет
 Слиянье волшебное тени и сладкого света,
 Каким никогда не украшено небо полудня;
 Та ясность, подобная прелестям северной девы,
 Которой глаза голубые и алые щеки
 Едва отеняются русыми локоном волнами.
 Тогда над Невой и над пышным Петрополем видят
 Без сумрака вечер и быстрые ночи без тени;
 Тогда Филомела полночные песни лишь кончит
 И песни заводит, приветствуя день восходящий.
 Но поздно; повеяла свежесть на невские тундры;
 Роса опустилась;
 Вот полночь: шумевшая вечером тысячью весел,
 Нева не колыхнет; разъехались гости гралские;
 Ни гласа на бреге, ни зыби на влаге, все тихо;
 Лишь изредка гул от мостов пробежит над водою;
 Лишь крик протяженный из дальней промчится деревни,
 Где в ночь окликается ратная стража со стражей.
 Все спит.».

Дыханьем ночи благосклонной
 Безмолвно упивались мы!
 Как в лес зеленый из тюрьмы
 Перенесен колодник сонный,
 Так уносились мы мечтой
 К началу жизни молодой.

XLVIII

С душою, полной сожалений,
 И опершись на гранит,
 Стоял задумчиво Евгений,
 Как описал себя пиит¹.
 Все было тихо; лишь ночные
 Перекликались часовые,
 Да дροжек отдаленный стук
 С Мильонной раздавался вдруг;
 Лишь лодка, веслами махая,
 Плыла по дремлющей реке:
 И нас пленяли вдалеке
 Рожок и песня удалая...
 Но слаще, средь ночных забав,
 Напев Торкватовых октав!

XLIX

Адриатические волны,
 О Брента! нет, увижу вас
 И, вдохновенья снова полный,
 Услышу ваш волшебный глас!
 Он свят для внуков Аполлона;
 По гордой лире Альбиона
 Он мне знаком, он мне родной.
 Ночей Италии златой
 Я негой наслажусь на воле,
 С венецианкою младой,
 То говорливой, то немой,
 Плывя в таинственной гондоле;
 С ней обретут уста мои
 Язык Петрарки и любви.

L

Придет ли час моей свободы?
 Пора, пора! — взываю к ней;
 Брожу над морем², жду погоды,
 Маню ветрила кораблей.
 Под ризой бурь, с волнами споря,
 По вольному распутью моря

¹ Въявь богиню благосклонну
 Зрит восторженный пиит,
 Что проводит ночь бессонну,
 Опершись на гранит.
 (Муравьев. Богине Невы)

² Писано в Одессе.

Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

LI

Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны;
Но скоро были мы судьбою
На долгий срок разведены.
Отец его тогда скончался.
Перед Онегиным собрался
Заимодавцев жадный полк.
У каждого свой ум и толк:
Евгений, тяжбы ненавидя,
Довольный жребием своим,
Наследство предоставил им,
Большой потери в том не видя
Иль предузнав издалека
Кончину дяди старика.

LII

Вдруг получил он в самом деле
От управителя доклад,
Что дядя при смерти в постеле
И с ним проститься был бы рад.
Прочтя печальное посланье,
Евгений тотчас на свиданье
Стремглав по почте поскакал
И уж заранее зевал,
Приготовляясь, денег ради,
На вздохи, скуку и обман
(И тем я начал мой роман);
Но, прилетев в деревню дяди,
Его нашел уж на столе,
Как дань готовую земле.

LIII

Нашел он полон двор услуги;
К покойнику со всех сторон
Съезжались недруги и друзья,
Охотники до похорон.
Покойника похоронили.
Попы и гости ели, пили
И после важно разошлись,
Как будто делом занялись.
Вот наш Онегин — сельский житель,
Заводов, вод, лесов, земель

Хозяин полный, а досель
 Порядка враг и расточитель,
 И очень рад, что прежний путь
 Переменил на что-нибудь.

LIV

Два дня ему казались новы
 Уединенные поля,
 Прохлада сумрачной дубровы,
 Журчанье тихого ручья;
 На третий роща, холм и поле
 Его не занимали боле;
 Потом уж наводили сон;
 Потом увидел ясно он,
 Что и в деревне скука та же,
 Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
 Ни карт, ни балов, ни стихов.
 Хандра ждала его на страже,
 И бегала за ним она,
 Как тень иль верная жена.

LV

Я был рожден для жизни мирной,
 Для деревенской тишины;
 В глуши звучнее голос лирный,
 Живее творческие сны.
 Досугам посвящаться невинным,
 Брожу над озером пустынным,
 И *far niente* мой закон.
 Я каждым утром пробужден
 Для сладкой неги и свободы:
 Читаю мало, долго сплю,
 Летучей славы не ловлю.
 Не так ли я в былые годы
 Провел в бездействии, в тени
 Мои счастливейшие дни?

LVI

Цветы, любовь, деревня, праздность,
 Поля! я предан вам душой.
 Всегда я рад заметить разность
 Между Онегиным и мной,
 Чтобы насмешливый читатель
 Или какой-нибудь издатель
 Замысловатой клеветы,
 Сличая здесь мои черты,
 Не повторял потом безбожно,
 Что намарал я свой портрет,
 Как Байрон, гордости поэт,
 Как будто нам уж невозможно
 Писать поэмы о другом,
 Как только о себе самом.

LVII

Замечу кстати: все поэты —
 Любви мечтательной друзья.
 Бывало, милые предметы
 Мне снились, и душа моя
 Их образ тайный сохранила;
 Их после муза оживила:
 Так я, беспечен, воспевал
 И деву гор, мой идеал,
 И пленниц берегов Салгира.
 Теперь от вас, мои друзья,
 Вопрос нередко слышу я:
 «О ком твоя вздыхает лира?
 Кому, в толпе ревнивых дев,
 Ты посвятил ее напев?»

LVIII

«Чей взор, волнун вдохновенья,
 Умильной лаской наградил
 Твое задумчивое пенье?
 Кого твой стих боготворил?»
 И, други, никого, ей-богу!
 Любви безумную тревогу
 Я безотрадно испытал.
 Блажен, кто с нею сочетал
 Горячку рифм: он тем удвоил
 Поэзии священный бред,
 Петрарке шествуя вослед,
 А муки сердца успокоил,
 Поймал и славу между тем;
 Но я, любя, был глуп и нем.

LIX

Прошла любовь, явилась муза,
 И прояснился темный ум.
 Свободен, вновь ищущ союза
 Волшебных звуков, чувств и дум;
 Пишу, и сердце не тоскует,
 Перо, забывшись, не рисует,
 Близ неоконченных стихов,
 Ни женских ножек, ни голов;
 Погасший пепел уж не вспыхнет,
 Я все грущу; но слез уж нет,
 И скоро, скоро бури след
 В душе моей совсем утихнет:
 Тогда-то я начну писать
 Поэму песен в двадцать пять.

LX

Я думал уж о форме плана
 И как героя назову;
 Покамест моего романа
 Я кончил первую главу;

Пересмотрел все это строго:
 Противоречий очень много,
 Но их исправить не хочу.
 Цензуре долг свой заплачу
 И журналистам на съеденье
 Плоды трудов моих отдам:
 Иди же к невским берегам,
 Новорожденное творенье,
 И заслужи мне славы дань:
 Кривые толки, шум и брань!

ГЛАВА ВТОРАЯ

O rus!..

Hor.

O Русь!

I

Деревня, где скучал Евгений,
 Была прелестный уголок;
 Там друг невинных наслаждений
 Благословить бы небо мог.
 Господский дом уединенный,
 Горой от ветров огражденный,
 Стоял над речкою. Вдали
 Пред ним пестрели и цвели
 Луга и нивы золотые,
 Мелькали селы; здесь и там
 Стада бродили по лугам,
 И сени расширял густые
 Огромный, запущенный сад,
 Приют задумчивых дриад.

II

Почтенный замок был построен,
 Как замки строиться должны:
 Отменно прочен и спокоен
 Во вкусе умной старины.
 Везде высокие покои,
 В гостиной штофные обои,
 Царей портреты на стенах,
 И печи в пестрых изразцах.
 Все это ныне обветшало,
 Не знаю, право, почему;
 Да, впрочем, другу моему
 В том нужды было очень мало,
 Затем, что он равно зевал
 Средь модных и старинных зал.

III

Он в том покое поселился,
 Где деревенский старожил
 Лет сорок с ключницей бранился,
 В окно смотрел и мух давил.

Все было просто: пол дубовый,
Два шкафа, стол, диван пуховый,
Нигде ни пятнышка чернил.
Онегин шкафы отворил;
В одном нашел тетрадь расхода,
В другом наливки целый строй,
Кувшины с яблочной водой
И календарь осьмого года:
Старик, имея много дел,
В иные книги не глядел.

IV

Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся,
И в голос все решили так,
Что он опаснейший чужак.

V

Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышат их домашни дроги, —
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч; сумасбродит;
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Все *да да нет*; не скажет *да-с*
Иль *нет-с*». Таков был общий глас.

VI

В свою деревню в ту же пору
Помещик новый прискакал
И столь же строгому разбору
В соседстве повод подавал:
По имени Владимир Ленской,
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной

Привез учености плоды:
 Вольнолюбивые мечты,
 Дух пылкий и довольно странный,
 Всегда восторженную речь
 И кудри черные до плеч.

VII

От холодного разврата света
 Еще увянуть не успев,
 Его душа была согрета
 Приветом друга, лаской дев;
 Он сердцем милый был невежда,
 Его лелеяла надежда,
 И мира новый блеск и шум
 Еще пленяли юный ум.
 Он забавлял мечтою сладкой
 Сомненья сердца своего;
 Цель жизни нашей для него
 Была заманчивой загадкой,
 Над ней он голову ломал
 И чудеса подозревал.

VIII

Он верил, что душа родная
 Соединиться с ним должна,
 Что, безотрадно изнывая,
 Его вседневно ждет она;
 Он верил, что друзья готовы
 За честь его приять оковы
 И что не дрогнет их рука
 Разбить сосуд клеветника;
 Что есть избранные судьбами,
 Людей священные друзья;
 Что их бессмертная семья
 Неотразимыми лучами
 Когда-нибудь нас озарит
 И мир блаженством одарит.

IX

Негодование, сожаленье,
 Ко благу чистая любовь
 И славы сладкое мученье
 В нем рано волновали кровь.
 Он с лирой странствовал на свете;
 Под небом Шиллера и Гете
 Их поэтическим огнем
 Душа воспламенилась в нем;
 И муз возвышенных искусства,
 Счастливцев, он не постыдил:
 Он в песнях гордо сохранил
 Всегда возвышенные чувства,
 Порывы девственной мечты
 И прелесть важной простоты.

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ

АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Глава I

В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, арап Ибрагим. Он обучался в парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в Испанской войне и, тяжело раненный, возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не преставаля осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался различными предложениями, то раною, то желанием усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисходительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем здоровье, благодарил за ревность к учению и, крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные наставления.

По свидетельству всех исторических записок ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностью двора, важностью и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-Рояля не были тайною для Парижа; пример был заразителен. На ту пору явился Law; алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распалось под игривые припевы сатирических водевилей.

Между тем общества представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность, все, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностью. Литература, ученость и философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение. Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новейших Афин, принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени.

Temps fortuné, marqué par la licence,
Où la folie, agitant son grelot,
D'un pied léger parcourt toute la France,
Où nul mortel ne daigne être dévot,
Où l'on fait tout excepté pénitence¹.

¹ Счастливое время, отмеченное вольностью нравов, когда безумие, звеня своим бубенчиком, легким шагом обегает всю Францию, когда ни один смертный не желает быть благочестивым, когда готовы на всё, кроме покаяния (*фр.*). (Вольтер «Орлеанская девственница».)

Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя le Nègre du czar¹ и ловили его наперехват; регент приглашал его не раз на свои веселые вечера; он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостью Аруэта и старостию Шолье, разговорами Монтескье и Фонтенеля; не пропустил ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого представления, и предавался общему вихрю со всею пылкостью своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассеяние, эти блестящие забавы на суровую простоту Петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил.

Графиня Д., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою. Семнадцати лет, при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключенье. Дом ее был самый модный. У ней соединялось лучшее парижское общество. Ибрагима представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами.

Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания; это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его сердца, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием.

Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами. Разговор его был прост и важен; он понравился графине Д., которой надоели вечные шутки и тонкие намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-помалу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди гудреных париков ее гостиниой. (Ибрагим был ранен в голову и вместо парика носил повязку.) Ему было двадцать семь лет от роду; он был высок и строен, и не одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным, нежели простое любопытство, но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал, или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно, что невозможно было в ней подозревать и тени кокетства или насмешливости.

Любовь не приходила ему на ум, — а уже видеть графиню каждый день было для него необходимо. Он повсюду искал ее встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз неожиданной милостию неба. Графиня, прежде чем он сам, угадала его чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех расчетов оболщания. В присутствии Ибрагима графиня следовала за всеми его движениями, вслушивалась во все его речи; без него она задумывалась и впадала в обыкновенную свою рассеянность... Мервиль первый заметил эту взаимную склонность и поздравил Ибрагима. Ничто так не воспламеняет любви, как ободрительное замечание постороннего. Любовь слепа и, не доверяя самой себе, торопливо хватается за всякую опору. Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимой женщиной доселе не представ-

¹ Царского арапа.

лялась его воображению; надежда вдруг озарила его душу; он влюбился без памяти. Напрасно графиня, испуганная иступлению его страсти, хотела противопоставить ей увещания дружбы и советы благоразумия, она сама ослабевала. Неосторожные вознаграждения быстро следовали одно за другим. И наконец, увлеченная силою страсти, ею же внушенной, изнемогая под ее влиянием, она отдалась восхищенному Ибрагиму...

Ничто не скрывается от взоров наблюдательного света. Новая связь графини стала скоро всем известна. Некоторые дамы изумлялись ее выбору, многим казался он очень естественным. Одни смеялись, другие видели с ее стороны непростительную неосторожность. В первом упоении страсти Ибрагим и графиня ничего не замечали, но вскоре двусмысленные шутки мужчин и колкие замечания женщин стали до них доходить. Важное и холодное обращение Ибрагима доселе ограждало его от подобных нападений; он выносил их нетерпеливо и не знал, чем отразить. Графиня, привыкшая к уважению света, не могла хладнокровно видеть себя предметом сплетней и насмешек. Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоляла за нее не вступаться, чтоб напрасным шумом не погубить ее совершенно.

Новое обстоятельство еще более запутало ее положение. Обнаружилось следствие неосторожной любви. Утешения, советы, предложения — все было истощено и все отвергнуто. Графиня видела неминуемую гибель и с отчаянием ожидала ее.

Как скоро положение графини стало известно, толки начались с новою силою. Чувствительные дамы ахали от ужаса; мужчины бились об заклад, кого родит графиня: белого ли, или черного ребенка. Эпиграммы сыпались насчет ее мужа, который один во всем Париже ничего не знал и ничего не подозревал.

Роковая минута приближалась. Состояние графини было ужасно. Ибрагим каждый день был у нее. Он видел, как силы душевные и телесные постепенно в ней исчезали. Ее слезы, ее ужас возобновлялись поминутно. Наконец она почувствовала первые муки. Меры были приняты наскорю. Графа нашли способ удалить. Доктор приехал. Два дня перед сим уговорили одну бедную женщину уступить в чужие руки новорожденного своего младенца; за ним послали поверенного. Ибрагим находился в кабинете близ самой спальни, где лежала несчастная графиня. Не смея дышать, он слышал ее глухие стенанья, шепот служанки и приказанья доктора. Она мучилась долго. Каждый стон ее раздирал его душу; каждый промежутток молчания обливала его ужасом... вдруг он услышал слабый крик ребенка и, не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату графини — черный младенец лежал на постеле в ее ногах. Ибрагим к нему приблизился. Сердце его билось сильно. Он благословил сына дрожащею рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую руку... но доктор, опасаясь для больной слишком сильных потрясений, отгнал Ибрагима от ее постели. Новорожденного положили в крытую корзину и вынесли из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка и поставили его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал немного успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно, узнал о счастливом разрешении супруги и был очень доволен. Таким образом публика, ожидавшая соблазнительного шума, обманулась в своей надежде и была принуждена утешаться единым злословием.

Все вошло в обыкновенный порядок. Но Ибрагим чувствовал, что судьба его должна была перемениться и что связь его рано или поздно могла дойти до сведения графа D. В таком случае, что бы ни произошло, погибель графини была неизбежна. Он любил страстно и так же был любим; но графиня была своенравна и легкомысленна. Она любила не в первый раз. Отвращение, ненависть могли заменить в ее сердце чувства самые нежные. Ибрагим предвидел уже минуту ее охлаждения; доселе он не ведал ревности, но с ужасом ее предчувствовал; он воображал, что страдания разлуки должны быть менее мучительны, и уже намеревался разорвать несчастную связь, оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призывали его и Петр и темное чувство собственного долга.

Глава II

Дни, месяцы проходили, и влюбленный Ибрагим не мог решиться оставить им обольщенную женщину. Графиня час от часу более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отдаленной провинции. Сплетни света стали утихать, и любовники начинали наслаждаться большим спокойствием, молча помня минувшую бурю и стараясь не думать о будущем.

Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Герцог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо, приказав прочесть на досуге. Это было письмо Петра Первого. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал герцогу, что он ни в чем неволивать Ибрагима не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С той минуты участь его была решена. На другой день он объявил регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию. «Подумайте о том, что делаете, — сказал ему герцог, — Россия не есть ваше отечество; не думаю, чтоб вам когда-нибудь удалось опять увидеть знойную вашу родину; но ваше долговременное пребывание во Франции сделало вас равно чуждым климату и образу жизни полудикой России. Вы не родились подданным Петра. Поверьте мне: воспользуйтесь его великодушным позволением. Оставайтесь во Франции, за которую вы уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши заслуги и дарования не останутся без достойного вознаграждения». Ибрагим искренно благодарил герцога, но остался тверд в своем намерении. «Жалею, — сказал ему регент, — но, впрочем, вы правы». Он обещал ему отставку и написал обо всем русскому царю.

Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъезда провел он, по обыкновению, вечер у графини D. Она ничего не знала; Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спокойна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шутила над его задумчивостью. После ужина все разъехались. Остались в гостиной графиня, ее муж да Ибрагим. Несчастный отдал бы все на свете, чтоб только остаться с нею наедине; но граф D., казалось, расположился у камина так спокойно, что нельзя было надеяться выжить его из комнаты. Все трое молчали. «*Vonne nuit*»¹, — сказала наконец графиня. Сердце Ибрагима стеснилось и вдруг почувствовало все ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. «*Vonne nuit, messieurs*»², — повторила графиня. Он все не двигался... наконец глаза его потемнели, голова закружилась, он едва мог выйти из комнаты. Приехав домой, он почти в беспомощности написал следующее письмо:

«Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил иначе с тобою объясниться.

Счастье мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить; очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я все, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоею неограниченной нежностью... Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что дозволяет в теории: его холодная насмешливость, рано или поздно, победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу и ты наконец устыдилась бы своей страсти... что было б тогда со мною? Нет! лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты...

Твое спокойствие мне всего дороже: ты не могла им наслаждаться, пока взоры света были на нас устремлены. Вспомни все, что ты вытерпела, все оскорбления самолюбия, все мучения боязни; вспомни ужасное рождение нашего сына. Подумай: должен ли я подвергать тебя долее тем же волнениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека?

¹ Покойной ночи.

² Покойной ночи, господа.

Прости, Леонора, прости, милый, единственный друг. Оставляя тебя, оставляю первые и последние радости моей жизни. Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение. Строгие занятия, которым отныне предаюсь, если не заглушат, то по крайней мере будут развлекать мучительные воспоминания о днях восторгов и блаженства... Прости, Леонора, — отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий; прости, будь счастлива — и думай иногда о бедном негре, о твоём верном Ибрагиме».

В ту же ночь он отправился в Россию.

Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностию. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек.

Нечувствительным образом очутился он на русской границе. Осень уже наступала. Но ямщики, несмотря на дурную дорогу, везли его с быстротою ветра, и в семнадцатый день своего путешествия прибыл он утром в Красное Село, чрез которое шла тогдашняя большая дорога.

Оставалось двадцать восемь верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого роста, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим? — закричал он, вставая с лавки. — Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приблизился, обнял его и поцеловал в голову. «Я был предуведомлен о твоём приезде, — сказал Петр, — и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же, — продолжал государь, — твою повозку везти за нами; а сам садись со мною и поедем ко мне». Подали государю коляску. Он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Чрез полтора часа они приехали в Петербург. Ибрагим с любопытством смотрел на новоружденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над супротивлением стихий. Дома казались наскоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска остановилась у двorca так называемого Царицына сада. На крыльце встретила Петра женщина лет тридцати пяти, прекрасная собою, одетая по последней парижской моде. Петр поцеловал ее в губы и, взяв Ибрагима за руку, сказал: «Узнала ли ты, Катенька, моего крестника: прошу любить и жаловать его по-прежнему». Екатерина устремила на него черные, пронизательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие как розы, стояли за нею и почтительно приблизились к Петру. «Лиза, — сказал он одной из них, — помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораньенбауме? вот он: представляю тебе его». Великая княжна засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив и Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, расспрашивал его о Испанской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, которого он любил, хотя и осуждал в нем многое. Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным. Петр был очень доволен его ответами; он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя полтавского, могучего и грозного преобразователя России.

После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими княжнами. Он старался удовлетворить их любопытству, описывая образ парижской жизни, тамошние праздники и свои нравные моды. Между тем некоторые из особ, приближенных к государю, собра-

лился во дворец. Ибрагим узнал великолепного князя Меншикова, который, увидя арапа, разговаривающего с Екатериной, гордо на него покосился; князя Якова Долгорукого, крутого советника Петра; ученого Брюса, прославившего в народе русским Фаустом; молодого Рагузинского, бывшего своего товарища, и других пришедших к государю с докладами и за приказаниями.

Государь вышел часа через два. «Посмотрим, — сказал он Ибрагиму, — не забыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску да ступай за мною». Петр заперся в токарне и занялся государственными делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал-полицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений. Ибрагим не мог удивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По окончании трудов Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, все ли им предполагаемое на сей день исполнено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагиму: «Уж поздно; ты, я чай, устал: ночуй здесь, как бывало в старину. Завтра я тебя разбуджу».

Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге, он видел вновь великого человека, близ которого, еще не зная ему цены, провел он свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня Д., в первый раз после разлуки, не была во весь день единственной его мыслию. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, единственность и постоянные занятия могут оживить его душу, утомленную страстями, праздностию и тайным унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбудила в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. В сем расположении духа он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в дальний Париж в объятия милой графини.

Глава III

На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима и поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном. Придворные окружили Ибрагима, всякий по-своему старался облакать нового любимца. Надменный князь Меншиков дружески пожал ему руку. Шереметев осведомился о своих парижских знакомых, а Головин позвал обедать. Сему последнему примеру последовали и прочие, так что Ибрагим получил приглашений по крайней мере на целый месяц.

Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные — следственно, не знал скуки. Он день ото дня более привязывался к государю, лучше постигал его высокую душу. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Ибрагим видал Петра в сенате, оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательства, в адмиралтейской коллегии утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном, Гавриилом Бужинским и Копиевичем, в часы отдохновения рассматривающего переводы иностранных публицистов или посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет ученого. Россия представлялась Ибрагиму огромной мастеровой, где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милое воспоминание: часто думал он о графине Д., воображал ее справедливое негодование, слезы и уныние... но иногда мысль ужасная стесняла его грудь: рассеяние большого света, новая связь, другой счастливец — он содрогался; ревность начинала бурлить в африканской его крови, и горячие слезы готовы были течь по его черному лицу.

Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие на французском языке; Ибрагим с живостью оборотился, и молодой Корсаков, которого он оставил в Париже, в вихре большого света, обнял его с радостными восклицаниями. «Я сей час только приехал, — сказал Корсаков, — и прямо прибежал к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются, жалеют о твоём отсутствии; графиня D. велела звать тебя непременно, и вот тебе от нее письмо». Ибрагим схватил его с трепетом и смотрел на знакомый почерк надписи, не смея верить своим глазам. «Как я рад, — продолжал Корсаков, — что ты еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге! что здесь делают, чем занимаются? кто твой портной? заведена ли у вас хоть опера?» Ибрагим в рассеянии отвечал, что, вероятно, государь работает теперь на корабельной верфи. Корсаков засмеялся. «Вижу, — сказал он, — что тебе теперь не до меня; в другое время наговоримся досыта; еду представляться государю». С этим словом он перевернулся на одной ножке и выбежал из комнаты.

Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал письмо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве и недоверчивости. «Ты говоришь, — писала она, — что мое спокойствие дороже тебе всего на свете: Ибрагим! если б это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоём отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не удержала; будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что считаешь ты своим долгом». Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь.

Ибрагим двадцать раз перечел это письмо, с восторгом целуя бесценные строки. Он горел нетерпением услышать что-нибудь об графине и собрался ехать в адмиралтейство, надеясь там застать еще Корсакова, но дверь отворилась, и сам Корсаков явился опять; он уже представлялся государю — и по своему обыкновению казался очень собою доволен. «Entre nous¹, — сказал он Ибрагиму, — государь прекрасный человек; вообрази, что я застал его в какой-то холстяной фуфайке, на мачте нового корабля, куда принужден я был карабкаться с моими депешами. Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольно места, чтоб сделать приличный реверанс, и совершенно замешался, что отроду со мной не случилось. Однако ж государь, прочитав бумаги, посмотрел на меня с головы до ног и, вероятно, был приятно поражен вкусом и шегольством моего наряда; по крайней мере он улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я в Петербурге совершенный чужестранец, во время шестилетнего отсутствия я вовсе позабыл здешние обыкновения, пожалуйста, будь моим ментором, заезжай за мной и представь меня». Ибрагим согласился и спешил обратить разговор к предмету, более для него занимательному. «Ну, что графиня D.?» — «Графиня? она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом; потом, разумеется, мало-помалу утешилась и взяла себе нового любовника; знаешь кого? длинного маркиза R.; что же ты вытарачил свои арапские белки? или все это кажется тебе странным; разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской; подумай об этом хорошенько, а я пойду, отдохну с дороги; не забудь же за мною заехать».

Какие чувства наполнили душу Ибрагима? ревность? бешенство? отчаянье? нет; но глубокое, стесненное уныние. Он повторял себе: «Это я предвидел, это должно было случиться». Потом открыл письмо графини, перечел его снова, повесил голову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время ехать. Ибрагим был бы очень рад избавиться, но ассамблея была дело должностное, и государь строго требовал присутствия своих приближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым.

Корсаков сидел в шляпорке, читая французскую книгу. «Так рано», — сказал он Ибрагиму, увидя его. «Помилуй, — отвечал тот, — уж половина шестого; мы опоздаем; скорей одевайся и поедем». Корсаков засуетился, стал звонить изо

¹ Говоря между нами.

всей мочи; люди сбежались; он стал поспешно одеваться. Француз-камердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтан, шитый блестками; в передней наскоро пудрили парик, его принесли, Корсаков всунул в него стриженую головку, потребовал шапу и перчатки, раз десять перевернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали им медвежьи шубы, и они поехали в Зимний дворец.

Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге первая красавица? кто славится первым танцовщиком? какой танец нынче в моде? Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его любопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество длинных саней, старых колымаг и раззолоченных карет стояло уже на дугу. У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, скороходы, блистающие мишурою, в перьях и с булавами, гусары, пажи, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ: свита необходимая, по понятиям бояр тогдашнего времени. При виде Ибрагима поднялся между ними общий шепот: «Арап, арап, царский арап!» Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери настичь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел... В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыма, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах толпою двигались взад и вперед при непрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен; молодые блистали всею роскошью моды. Золото и серебро блистало на их робах; из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия; алмазы блистали в ушах, в длинных локонках и около шеи. Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимую стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием, присутствовали на сих нововведенных игрищах и с досадою косились на жен и дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках и в красных кофточках вязали свой чулок, между собою смеяся и разговаривая как будто дома. Корсаков не мог опомниться. Замята новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на подносе. «Que diable est-ce que tout cela?»¹, — спрашивал Корсаков вполголоса у Ибрагима. Ибрагим не мог не улыбнуться. Императрица и великие княжны, блистая красотою и нарядами, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая ему показаться, насилу мог туда пробраться сквозь беспрестанно движущуюся толпу. Там сидели большею частью иностранцы, важно покуривая свои глиняные трубки и опорожнивая глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером. Они усердно салютовали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озадачен нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около их ни вертелся. В это время толстый господин, с толстым букетом на груди, суетливо вошел, объявил громогласно, что танцы начались, — и тотчас ушел; за ним последовало множество гостей, в том числе и Корсаков.

Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцевальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворачивая направо, потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее. Корсаков, смотря на сие затейливое препровождение времени, тарасил глаза и кусал себе губы. Приседания и поклоны продолжались около получаса; наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть менуэт.

¹ Что за чертовщина.

Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гостями одна в особенности ему понравилась. Ей было около шестнадцати лет, она была одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужчины пожилых лет, виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцевать. Молодая красавица смотрела на него с замешательством и, казалось, не знала, что ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще более. Корсаков ждал ее решения, но господин с букетом подошел к нему, отвел на средину залы и важно сказал: «Государь мой, ты провинился: во-первых, подошел к сей молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса; а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в менюэтах право сие подобает даме, а не кавалеру; сего ради имеешь ты быть весьма наказан, именно должен выпить *кубок большого орла*». Корсаков час от часу более дивился. В одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленного исполнения закона. Петр, услыша хохот и сии крики, вышел из другой комнаты, будучи большой охотник лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед ним толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял осужденный и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком, наполненным мальвазией. Он тщетно уговаривал преступника добровольно повиниться закону. «Ага, — сказал Петр, увидя Корсакова, — попался, брат, изволь же, мосье, пить и не морщиться». Делать было нечего. Бедный шеголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. «Послушай, Корсаков, — сказал ему Петр, — штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство; смотри, чтоб я с тобой не побранился». Выслушав сей выговор, Корсаков хотел выйти из круга, но зашатался и чуть не упал, к неопisanному удовольствию государя и всей веселой компании. Сей эпизод не только не повредил единству и занимательности главного действия, но еще оживил его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблукками с большим усердием и уж вовсе не наблюдая каданса. Корсаков не мог участвовать в общем веселии. Дама, им выбранная, по повелению отца своего, Гаврилы Афанасьевича, подошла к Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагим протанцевал с нею менюэт и отвел ее на прежнее место; потом, отыскав Корсакова, вывел его из залы, посадил в карету и повез домой. Дорогою Корсаков сначала невнятно лепетал: «Проклятая ассамблея!.. проклятый кубок большого орла!..» — но вскоре заснул крепким сном, не чувствовал, как он приехал домой, как его раздели и уложили; и проснулся на другой день с головною болью, смутно помня шарканья, приседания, табачный дым, господина с букетом и кубок большого орла.

Глава IV

Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.

Руслан и Людмила.

Теперь должен я благосклонного читателя познакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древнего боярского рода, владел огромным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту; дворня его была многочисленна. Словом, он был коренной русский барин; по его выражению, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины.

Дочери его было семнадцать лет от роду. Еще ребенком лишилась она матери. Она была воспитана по-старинному, то есть окружена мамушками, нянюшками, подружками и сенными девушками, шила золотом и не знала грамоты; отец ее, несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного шведского офицера, живущего в их

доме. Сей заслуженный танцмейстер имел лет пятьдесят от роду, правая нога была у него прострелена под Нарвою и потому была не весьма способна к менуэтам и курантам, зато левая с удивительным искусством и легкою выделывала самые трудные *па*. Ученица делала честь ее стараниям. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшею танцовщицей, что и было отчасти причиною проступку Корсакова, который на другой день приезжал извиняться перед Гаврилою Афанасьевичем; но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который и прозвал его остроумно французской обезьяною.

День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались с женами и дочерьми, наконец освобожденными от затворничества домашнего указами государя и собственным его примером. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный золотыми чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поцелуй, получаемый в старину при таком случае, вышел уж из обыкновения. Пошли за стол. На первом месте, подле хозяина, сел тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, семидесятилетний боярин; прочие гости, наблюдая старшинство рода и тем поминая счастливые времена местничества, сели — мужчины по одной стороне, женщины по другой; на конце заняли свои привычные места: барская барыня в старинном шушуне и кичке; карлица, тридцатилетняя малютка, чопорная и сморщенная, и пленный швед в синем поношенном мундире. Стол, уставленный множеством блюд, был окружен суетливой и многочисленной челядью, между которою отличался дворецкий строгим взором, толстым брюхом и величавой неподвижностью. Первые минуты обеда посвящены были единственно на внимание к произведению старинной нашей кухни; звон тарелок и деятельных ложек возмущал один общее безмолвие. Наконец хозяин, видя, что время занять гостей приятною беседою, оборотился и спросил: «А где же Екимовна? Позвать ее сюда». Несколько слуг бросились было в разные стороны, но в ту же минуту старая женщина, набеленная и нарумяненная, убранныя цветами и мишурою, в штофном робронде, с открытой шеей и грудью, вошла припевая и подплясывая. Ее появление произвело общее удовольствие.

— Здравствуй, Екимовна, — сказал князь Лыков, — каково поживаешь?

— Подобрю-поздоровоу, кум: поючи да пляшучи, женишков поджидаячи.

— Где ты была, дура? — спросил хозяин.

— Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для Божия праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смех всему миру, по немецкому мануру.

При сих словах поднялся громкий хохот, и дура стала на свое место, за стулом хозяина.

— А дура-то врет, врет, да и правду соврет, — сказала Татьяна Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно им уважаемая. — Подлинно, нынешние наряды на смех всему миру. Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и надели кургузый кафтан, так про женское тряпье толковать, конечно, нечего: а, право, жаль сарафана, девичьей ленты и повойника. Ведь посмотреть на нынешних красавиц, и смех и жалость: волоски-то взбиты, что войлок, насалены, засыпаны французской мукою, животик перетянут так, что еле не перервется, исподницы напялены на обручи: в колымагу садятся бочком; в двери входят — нагибаются. Ни стать, ни сесть, ни дух перевести — сущие мученицы, мои голубушки.

— Ох, матушка Татьяна Афанасьевна, — сказал Кирила Петрович Т., бывший в Рязани воевода, где нажил себе три тысячи душ и молодую жену, то и другое с грехом пополам. — По мне жена как хочешь одевайся: хоть кутафьей, хоть болдыханом; только б не каждый месяц заказывала себе новые платья, а прежние бросала новешенькие. Бывало, внучке в приданое доставался бабушкин сарафан, а нынешние робронды — поглядишь — сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что делать? разорение русскому дворянству! беда, да и только. — При сих словах он со вздохом посмотрел на свою Марью Ильиничну, которой, казалось, вовсе не нра-

вились ни похвалы старине, ни порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностью молодой женщины.

— А кто виноват, — сказал Гаврила Афанасьевич, напена кружку кислых щей. — Не мы ли сами? Молоденькие бабы дурачатся, а мы им потакаем.

— А что нам делать, коли не наша воля? — возразил Кирила Петрович. — Иной бы рад был запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем требуют на ассамблею; муж за плетку, а жена за наряды. Ох, уж эти ассамблеи! наказал нас ими господь за прегрешения наши.

Марья Ильинична сидела как на иголках; язык у нее так и свербел; наконец она не вытерпела и, обратясь к мужу, спросила его с кисленькой улыбкою, что находит он дурного в ассамблеях?

— А то в них дурно, — отвечал разгоряченный супруг, — что с тех пор, как они завелись, мужья не слят с женами. Жены позабыли слово апостольское: *жена да убоится своего мужа*; хлопочут не о хозяйстве, а об обновлениях; не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглануться офицерам-вертопрахам. Да и прилично ли, сударыня, русской боярыне или боярышне находиться вместе с немцами-табачниками да с их работницами? Слыхано ли дело, до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужчинами? и добро бы еще с родственниками, а то с чужими, с незнакомыми.

— Сказал бы словечко, да волк недалечко, — сказал, нахмурясь, Гаврила Афанасьевич. — А признаюсь — ассамблеи и мне не по нраву: того и гляди, что на пьяного натолкнешься, аль и самого на смех пьяным напойт. Того и гляди, чтоб какой-нибудь повеса не напраказил чего с дочерью; а нынче молодежь так избаловалась, что ни на что не похоже. Вот, например, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на прошедшей ассамблее наделал такого шума с Наташей, что привел меня в краску. На другой день, гляжу, катят ко мне прямо на двор; я думал, кого-то бог несет — уж не князя ли Александра Даниловича? Не тут-то было: Ивана Евграфовича! небось не мог остановиться у ворот да потрудиться пешком дойти до крыльца — куды! влетел! расшаркался! разболтался!.. Дура Екимовна уморительно его передразнивает; кстати: представь, дура, заморскую обезьяну.

Дура Екимовна схватила крышку с одного блюда, взяла под мышку будто шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться во все стороны, приговаривая: «мусье... мамзель... ассамблея... пардон». Общий и продолжительный хохот снова изъявил удовольствие гостей.

— Ни дать ни взять — Корсаков, — сказал старый князь Лыков, отирая слезы смеха, когда последние мало-помалу восстановилось. — А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из неметчины на святую Русь скоморохом. Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать бог весть на каком наречии, не почитать старших да волочиться за чужими женами. Изо всех молодых людей, воспитанных в чужих краях (прости господи), царский арап всех более на человека походит.

— Конечно, — заметил Гаврила Афанасьевич, — человек он степенный и порядочный, не чета ветрогону... Это кто еще въехал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Вы что зеваете, скоты? — продолжал он, обращаясь к слугам. — Бегите, отказать ему; да чтоб и впредь...

— Старая борода, не бредишь ли? — прервала дура Екимовна. — Али ты слеп: сани-то государевы, царь приехал.

Гаврила Афанасьевич встал поспешно из-за стола; все бросились к окнам; и в самом деле увидели государя, который всходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сделалась суматоха. Хозяин бросился навстречу Петра; слуги разбегались, как одурелые, гости перетрусилась, иные даже думали, как бы убраться поскорее домой. Вдруг в передней раздался громозвучный голос Петра, все утихло, и царь вошел в сопровождении хозяина, оторопелого от радости. «Здоро-

во, господа», — сказал Петр с веселым лицом. Все низко поклонились. Быстрые взоры царя отыскивали в толпе молодую хозяйскую дочь; он подозвал ее. Наталья Гавриловна приблизилась довольно смело, но покраснев не только по уши, а даже по плеча. «Ты час от часу хорошеешь», — сказал ей государь и по своему обыкновению поцеловал ее в голову; потом, обратясь к гостям: «Что же? Я вам помешал. Вы обедали; прошу садиться опять, а мне, Гаврила Афанасьевич, дай-ка анисовой водки». Хозяин бросился к величавому дворецкому, выхватил из рук у него поднос, сам наполнил золотую чарочку и подал ее с поклоном государю. Петр, выпив, закусил кренделем и вторично пригласил гостей продолжать обед. Все заняли свои прежние места, кроме карлицы и барской барыни, которые не смели оставаться за столом, удостоенным царским присутствием. Петр сел подле хозяина и спросил себе шей. Государев денщик подал ему деревянную ложку, оправленную слоновью костью, ножик и вилку с зелеными костяными черенками, ибо Петр никогда не употреблял другого прибора, кроме своего. Обед, за минуту пред сим шумно оживленный веселием и говорливостию, продолжался в тишине и принужденности. Хозяин, из почтения и радости, ничего не ел, гости также чинились и с благоговением слушали, как государь по-немецки разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года. Дура Екимовна, несколько раз вопрошаемая государем, отвечала с какою-то робкой холодностию, что (замечу мимоходом) вовсе не доказывало природной ее глупости. Наконец обед кончился. Государь встал, за ним и все гости. «Гаврила Афанасьевич! — сказал он хозяину. — Мне нужно с тобою поговорить наедине» — и, взяв его под руку, увел в гостиную и запер за собою дверь. Гости остались в столовой, шепотом толкуя об этом неожиданном посещении, и, опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим, не поблагодарив хозяина за его хлеб-соль. Тесть его, дочь и сестра провожали их тихонько до порогу и остались одни в столовой, ожидая выхода государева.

Глава V

Чрез полчаса дверь отворилась, и Петр вышел. Важным наклоением головы отвечивал он на тройной поклон князя Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи и пошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, проводил его до саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр уехал.

Возвратясь в столовую, Гаврила Афанасьевич казался очень озабочен. Сердито приказал он слугам скорее собирать со стола, отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где обыкновенно отдыхал он после обеда. Старый князь лег на дубовую кровать, Татьяна Афанасьевна села на старинные штофные кресла, придвинув под ноги скамеечку; Гаврила Афанасьевич запер все двери, сел на кровать в ногах князя Лыкова и начал вполголоса следующий разговор:

— Недаром государь ко мне пожаловал; угадайте, о чем он изволил со мною беседовать?

— Как нам знать, батюшка-братец, — сказала Татьяна Афанасьевна.

— Не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство? — сказал тесть. — Давно пора. Али предложил быть в посольстве? что же? ведь и знатных людей — не одних дьяков посылают к чужим государям.

— Нет, — отвечал зять, нахмурился. — Я человек старого покроя, нынче служба наша не нужна, хоть, может быть, православный русский дворянин стоит нынешних новичков, блинников да басурманов, — но это статья особая.

— Так о чем же, братец, — сказала Татьяна Афанасьевна, — изволил он так долго с тобою толковать? Уж не беда ли какая с тобою приключилась? Господь упаси и помилуй!

— Беда не беда, а признаюсь, я было призадумался.

— Что же такое, братец? о чем дело?

— Дело о Наташе: царь приезжал ее сватать.

— Слава богу, — сказала Татьяна Афанасьевна, перекрестясь. — Девушка на выданье, а каков сват, таков и жених, — дай бог любовь да совет, а чести много. За кого же царь ее сватает?

— Гм, — крикнул Гаврила Афанасьевич, — за кого? то-то, за кого.

— А за кого же? — повторил князь Лыков, начинавший уже дремать.

— Отгадайте, — сказал Гаврила Афанасьевич.

— Батюшка-братец, — отвечала старушка, — как нам угадать? мало ли женихов при дворе: всякий рад взять за себя твою Наташу. Долгорукий, что ли?

— Нет, не Долгорукий.

— Да и бог с ним: больно спесив. Шеин, Троекуров?

— Нет, ни тот ни другой.

— Да и мне они не по сердцу: ветрогоны, слишком понабрались немецкого духу. Ну так Милославский?

— Нет, не он.

— И бог с ним: богат да глуп. Что же? Елецкий? Львов? нет? неужто Рагузинский? Воля твоя: ума не приложу. Да за кого ж царь сватает Наташу?

— За арапа Ибрагима.

Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь Лыков приподнял голову с подушек и с изумлением повторил: «За арапа Ибрагима!»

— Батюшка-братец, — сказала старушка слезливым голосом, — не погуби ты своего родимого дитя, не дай ты Наташеньки в когти черному диаволу.

— Но как же, — возразил Гаврила Афанасьевич, — отказать государю, который за то обещает нам свою милость, мне и всему нашему роду?

— Как, — воскликнул старый князь, у которого сон совсем прошел, — Наташу, внучку мою, выдать за купленного арапа!

— Он роду не простого, — сказал Гаврила Афанасьевич, — он сын арапского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Цареграде, а наш посланник вынул и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным выкупом и...

— Батюшка, Гаврила Афанасьевич, — перервала старушка, — слышали мы сказку про Бову-королевича да Еруслана Лазаревича. Расскажи-тко нам лучше, как отвечал ты государю на его сватание.

— Я сказал, что власть его с нами, а наше холопье дело повиноваться ему во всем.

В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврила Афанасьевич пошел отворить ее, но, почувствовав сопротивление, он сильно ее толкнул, дверь отворилась — и увидели Наташу, в обмороке простертую на окровавленном полу.

Сердце в ней замерло, когда государь заперся с ее отцом. Какое-то предчувствие шепнуло ей, что дело касается до нее, и когда Гаврила Афанасьевич отослал ее, объявив, что должен говорить ее тетке и деду, она не могла противиться влечению женского любопытства, тихо через внутренние покои подкралась к дверям опочивальни и не пропустила ни одного слова из всего ужасного разговора; когда же услышала последние отцовские слова, бедная девушка лишилась чувств и, падая, расшибла голову о кованный сундук, где хранилось ее приданое.

Люди сбежались; Наташу подняли, понесли в ее светлицу и положили на кровать. Через несколько времени она очнулась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар обнаружился, она твердила в бреду о царском арапе, о свадьбе — и вдруг закричала жалобным и пронзительным голосом: «Валериан, милый Валериан, жизнь моя! спаси меня: вот они, вот они!..» Татьяна Афанасьевна с беспокойством взглянула на брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из светлицы. Он возвратился к старому князю, который, не могши взойти на лестницу, оставался внизу.

— Что Наташа? — спросил он.

— Худо, — отвечал огорченный отец, — хуже, чем я думал: она в беспамятстве бредит Валерианом.

— Кто этот Валериан? — спросил встревоженный старик. — Неужели тот сирота, стрелецкий сын, что воспитывался у тебя в доме?

— Он сам, — отвечал Гаврила Афанасьевич, — на беду мою, отец его во время бунта спас мне жизнь, и черт меня догадал принять в свой дом проклятого волчонка. Когда, тому два году, по его просьбе, записали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, расплакалась, а он стоял как окаменелый. Мне показалось это подозрительным, и я говорил о том сестре. Но с тех пор Наташа о нем не упоминала, а про него не было ни слуху, ни духу. Я думал, она его забыла; ан, видно, нет. Решено: она выйдет за арапа.

Князь Лыков не противуречил: это было бы напрасно. Он поехал домой; Татьяна Афанасьевна осталась у Наташиной постели; Гаврила Афанасьевич, по-слав за лекарем, заперся в своей комнате, и в его доме все стало тихо и печально.

Неожиданное сватовство удивило Ибрагима, по крайней мере столь же, как и Гаврилу Афанасьевича. Вот как это случилось: Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему:

— Я замечаю, брат, что ты приуныл; говори прямо: чего тебе недостает? — Ибрагим уверил государя, что он доволен своей участью и лучшей не желает.

— Добро, — сказал государь, — если ты скучаешь безо всякой причины, так я знаю, чем тебя развеселить.

По окончанию работы Петр спросил Ибрагима:

— Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцевал минавет на прошедшей ассамблее?

— Она, государь, очень мила и, кажется, девушка скромная и добрая.

— Так я ж тебя с нею познакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться?

— Я, государь?..

— Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с тобою будет, бедный мой арап? Надобно тебе пристроиться, пока есть еще время; найти опору в новых связях, вступить в союз с русским боярством.

— Государь, я счастлив покровительством и милостями вашего величества. Дай мне бог не пережить своего царя и благодетеля, более ничего не желаю; но если б и имел в виду жениться, то согласится ли молодая девушка и ее родственники? моя наружность...

— Твоя наружность! какой вздор! чем ты не молодец? Молодая девушка должна повиноваться воле родителей, а посмотрим, что скажет старый Гаврила Ржевский, когда я сам буду твоим сватом? — При сих словах государь велел подавать сани и оставил Ибрагима, погруженного в глубокие размышления.

«Жениться! — думал африканец, — зачем же нет? ужели суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека потому только, что я родился под пятнадцатым градусом? Мне нельзя надеяться быть любимым: детское возражение! разве можно верить любви? разве существует она в женском, легкомысленном сердце? Отказавшись навеки от милых заблуждений, я выбрал иные обольщения — более существенные. Государь прав: мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с молодою Ржевскою присоединит меня к гордому русскому дворянству, и я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве. От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностью, а дружбу приобрету постоянной нежностью, доверенностью и снисхождением».

Ибрагим, по своему обыкновению, хотел заняться делом, но воображение его слишком было развлечено. Он оставил бумаги и пошел бродить по невской набережной. Вдруг услышал он голос Петра; оглянулся и увидел государя, который, отпустив сани, шел за ним с веселым видом. «Все, брат, конечно, — сказал Петр, взяв его под руку. — Я тебя сосватал. Завтра поезжай к своему тестю; но смотри, потешь его боярскую спесь; оставь сани у ворот; пройди через двор пешком; по-

говори с ним о его заслугах, о знатности — и он будет от тебя без памяти. А теперь, — продолжал он, потряхивая дубинкою, — заведи меня к плуту Данилычу, с которым надо мне перевестаться за его новые проказы».

Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за его отеческую заботливость о нем, довел его до великолепных палат князя Меншикова и возвратился домой.

Глава VI

Тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в коем блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон. Дрожащий свет ее слабо озарял занавешенную кровать и столик, уставленный склянками с ярлыками. У печки сидела служанка за самопрялкою, и легкий шум ее веретена прерывал один тишину светлицы.

— Кто здесь? — произнес слабый голос. Служанка встала тотчас, подошла к кровати и тихо приподняла полог. — Скоро ли рассветет? — спросила Наталья.

— Теперь уже полдень, — отвечала служанка.

— Ах боже мой, отчего же так темно?

— Окна закрыты, барышня.

— Дай же мне поскорее одеваться.

— Нельзя, барышня, дохтур не приказал.

— Разве я больна? давно ли?

— Вот уж две недели.

— Неужто? а мне казалось, будто я вчера только легла..

Наташа умолкла; она старалась собрать рассеянные мысли. Что-то с нею случилось, но что именно? не могла вспомнить. Служанка все стояла перед нею, ожидая приказанья. В это время раздался снизу глухой шум.

— Что такое? — спросила больная.

— Господа откушали, — отвечала служанка; — встают из-за стола. Сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна.

Наташа, казалось, обрадовалась; она махнула слабою рукою. Служанка задернула занавес и села опять за самопрялку.

Через несколько минут из-за двери показалась голова в белом широком чепце с темными лентами, и спросили вполголоса:

— Что Наташа?

— Здравствуй, тетушка, — сказала тихо больная; и Татьяна Афанасьевна к ней поспешила.

— Барышня в памяти, — сказала служанка, осторожно придвигая кресла.

Старушка со слезами поцеловала бледное, томное лицо племянницы и села подле нее. Вслед за нею немец-лекарь, в черном кафтане и в ученом парике, вошел, пощупал у Наташи пульс и объявил по-латыни, а потом и по-русски, что опасность миновалась. Он потребовал бумаги и чернилницы, написал новый рецепт и уехал, а старушка встала и, снова поцеловав Наталью, с доброю вестию тотчас отправилась вниз к Гавриле Афанасьевичу.

В гостиной, в мундире при шпаге, с шляпою в руках, сидел царский арап, почтительно разговаривая с Гаврилою Афанасьевичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал их рассеянно и дразнил заслуженную борзую собаку; наскуча сим занятием, он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности, и в нем увидел Татьяну Афанасьевну, которая из-за двери делала брату незамечаемые знаки.

— Вас зовут, Гаврила Афанасьевич, — сказал Корсаков, обратясь к нему и перебив речь Ибрагима. Гаврила Афанасьевич тотчас пошел к сестре и притворил за собою дверь.

— Дивлюсь твоему терпению, — сказал Корсаков Ибрагиму. — Битый час слушаешь ты бредни о древности рода Лыковых и Ржевских и еще присовокупляешь к

тому свои нравоучительные примечания! На твоём месте j'aurais planté là¹ старого враля и весь его род, включая тут же и Наталью Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной, une petite santé...² Скажи по совести, ужели ты влюблен в эту маленькую mîjaurée³? Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету; право, я благоразумнее, чем кажусь. Брось эту блажную мысль. Не женись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет особенного к тебе расположения. Мало ли что случается на свете? Например: я, конечно, собою не дурен, но случилось, однако ж, мне обманывать мужей, которые были, ей-богу, ничем не хуже моего. Ты сам... помнишь нашего парижского приятеля, графа D.? Нельзя надеяться на женскую верность; счастлив, кто смотрит на это равнодушно! Но ты!.. С твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплюснутым носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?..

— Благодарю за дружеский совет, — перервал холодно Ибрагим, — но знаешь пословицу: не твоя печаль чужих детей качать...

— Смотри, Ибрагим, — отвечал, смеясь, Корсаков, — чтоб тебе после не пришлось эту пословицу доказывать на самом деле, в буквальном смысле.

Но разговор в другой комнате становился горяч.

— Ты уморишь ее, — говорила старушка. — Она не вынесет его виду.

— Но посуди ты сама, — возражал упрямый брат. — Вот уж две недели ездит он женихом, а до сих пор не видал невесты. Он наконец может подумать, что ее болезнь пустая выдумка, что мы ищем только как бы время продлить, чтоб как-нибудь от него отделаться. Да что скажет и царь? Он уж и так три раза присылал спросить о здоровье Натальи. Воля твоя — а я ссориться с ним не намерен.

— Господи боже мой, — сказала Татьяна Афанасьевна, — что с нею, бедною, будет? По крайней мере пусти меня приготовить ее к такому посещению. — Гаврила Афанасьевич согласился и возвратился в гостиную.

— Слава богу, — сказал он Ибрагиму, — опасность миновалась. Наталье гораздо лучше; если б не совестно было оставить здесь одного дорогого гостя, Ивана Евграфовича, то я повел бы тебя вверх взглянуть на свою невесту.

Корсаков поздравил Гаврилу Афанасьевича, просил не беспокоиться, уверил, что ему необходимо ехать, и побежал в переднюю, не допуская хозяина проводить себя.

Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить большую к появлению страшного гостя. Вошел в светлицу, она села, задыхаясь, у постели, взяла Наташу за руку, но не успела еще вымолвить слова, как дверь отворилась. Наташа спросила: кто пришел. Старушка обмерла и онемела. Гаврила Афанасьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и спросил, какова она? Больная хотела ему улыбнуться, но не могла. Суровый взгляд отца ее поразил, и беспокойство овладело ею. В это время показалось, что кто-то стоял у ее изголовья. Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала царского арапа. Тут она вспомнила все, весь ужас будущего представился ей. Но изнуренная природа не получила приметного потрясения. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза... сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть, и все вышли потихоньку из светлицы, кроме служанки, которая снова села за самопрядку.

Несчастливая красавица открыла глаза и, не видя уже никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за карлицею. Но в ту же минуту круглая, старая крошка как шарик подкатилась к ее кровати. Ласточка (так называлась карлица) во всю прыть коротеньких ножек, вслед за Гаврилою Афанасьевичем и Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице и притаилась за дверью, не изменяя любовитству, сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, высала служанку, и карлица села у кровати на скамеечку.

¹ Я бы плюнул на старого враля.

² Слабого здоровья.

³ Жеманницу.

Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь много душевной деятельности. Она вмещивалась во все, знала все, хлопотала обо всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она приобрести любовь своих господ и ненависть всего дома, которым управляла самовластно. Гаврилы Афанасьевич слушал ее доносы, жалобы и мелочные просьбы; Татьяна Афанасьевна поминутно справлялась с ее мнениями и руководствовалась ее советами; а Наташа имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движения шестнадцатилетнего своего сердца.

— Знаешь, Ласточка? — сказала она, — батюшка выдает меня за арапа.

Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее сморщилось еще более.

— Разве нет надежды, — продолжала Наташа, — разве батюшка не сжалится надо мною?

Карлица тряхнула чепчиком.

— Не заступятся ли за меня дедушка али тетушка?

— Нет, барышня. Арап во время твоей болезни всех успел заворожить. Барин от него без ума, князь только им и бредит, а Татьяна Афанасьевна говорит: жаль, что арап, а лучшего жениха грех нам и желать.

— Боже мой, Боже мой! — простонала бедная Наташа.

— Не печалься, красавица наша, — сказала карлица, целуя ее слабую руку. — Если уж и быть тебе за арапом, то все же будешь на своей воле. Нынче не то, что в старину; мужья жен не запирают: арап, слышно, богат; дом у вас будет как полная чаша, заживешь припеваючи...

— Бедный Валериан! — сказала Наташа, но так тихо, что карлица могла только угадать, а не слышать эти слова.

— То-то, барышня, — сказала она, таинственно понизив голос, — кабы ты меньше думала о стрелецком сироте, так бы в жару о нем не бредила, а батюшка не гневался б.

— Что? — сказала испуганная Наташа, — я бредила Валерианом, батюшка слышал, батюшка гневается!

— То-то и беда, — отвечала карлица. — Теперь, если ты будешь просить его не выдавать тебя за арапа, так он подумает, что Валериан тому причиною. Делать нечего: уж покорись воле родительской, а что будет, то будет.

Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение. Одна надежда ей оставалась: умереть прежде совершения ненавистного брака. Эта мысль ее утешила. Слабой и печальной душой покорилась она своему жребию.

Глава VII

В доме Гаврилы Афанасьевича из сеней направо находилась тесная каморка с одним окошечком. В ней стояла простая кровать, покрытая байковым одеялом, а пред кроватью еловый столик, на котором горела сальная свеча и лежали открытые ноты. На стене висел старый синий мундир и его ровесница, треугольная шляпа; над нею тремя гвоздиками прибита была лубочная картина, изображающая Карла XII верхом. Звуки флейты раздавались в этой смиренной обители. Пленный танцмейстер, уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом шлафорке, услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старинные шведские марши, напоминающие ему веселое время его юности. Посвятив целые два часа на сие упражнение, швед разобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться.

В это время защелка двери его приподнялась, и красивый молодой человек высокого росту, в мундире, вошел в комнату.

Удивленный швед встал испуганно.

— Ты не узнал меня, Густав Адамыч, — сказал молодой посетитель тронутым голосом, — ты не помнишь мальчика, которого учил ты шведскому артикулу,

с которым ты чуть не наделал пожара в этой самой комнатке, стреляя из детской пушечки.

Густав Адамыч пристально всматривался...

— Э-э-э, — вскричал он наконец, обнимая его, — сдарофо, тофно ли твой сдесь. Садись, твой тобрий повес, погофорим.

.....

ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА

Г-ЖА ПРОСТАКОВА

То, мой батюшка, он еще сызмала
к историям охотник.

СКОТИНИН

Митрофан по мне.

Недоросль.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Взявшись хлопотать об издании Повестей И. П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина; но, к сожалению, ей невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнестись по сему предмету к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету, и на письмо наше получили нижеследующий желаемый ответ. Помещаем его безо всяких перемен и примечаний, как драгоценный памятник благородного образа мнений и трогательного дружества, а вместе с тем, как и весьма достаточное биографическое известие.

*Милостивый Государь мой ** **!*

Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23 сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое желание иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим моим удовольствием исполняю сие ваше желание и препровождаю к вам, милостивый государь мой, все, что из его разговоров, а также из собственных моих наблюдений запомнить могу.

Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине. Покойный отец его, секунд-майор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пелагее Гавриловне из дому Трафилиных. Он был человек не богатый, но умеренный, и по части хозяйства весьма смысленный. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то почтенному мужу был он, кажется, обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году вступил он в службу в пехотный егерский полк (числом не упомяну), в коем и находился до самого 1823 года. Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину.

Вступив в управление имения, Иван Петрович, по причине своей неопытности и мягкосердия, в скором времени запустил хозяйство и ослабил строгий порядок, заведенный покойным его родителем. Сменив исправного и расторопно-

го старосту, коим крестьяне его (по их привычке) были недовольны, поручил он управление села старой своей ключнице, приобретшей его доверенность искусством рассказывать истории. Сия глупая старуха не умела никогда различить двадцатипятирублевой ассигнации от пятидесятирублевой; крестьяне, коим она всем была кума, ее вовсе не боялись; ими выбранный староста до того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович принужден был отменить барщину и учредить весьма умеренный оброк; но и тут крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие более двух третей оброка платили орехами, брусникою и тому подобным; и тут были недоимки.

Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я почитал долгом предлагать и сыну свои советы и неоднократно вызывался восстановить прежний, им упущенный, порядок. Для сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал плута старосту, и в присутствии Ивана Петровича занялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сначала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и прилежностью; но как по счетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался сим первым сведением и далее меня не слушал, и в ту самую минуту, как я своими разысканиями и строгими допросами плута старосту в крайнее замешательство привел и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею досадою услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственные распоряжения и передал его дела (как и он сам) распоряжению всевышнего.

Сие дружеских наших сношений несколько, впрочем, не расстроило; ибо я, соболезнуя его слабости и пагубному нерадению, общему молодым нашим дворянам, искренно любил Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодого человека столь кроткого и честного. С своей стороны Иван Петрович оказывал уважение к моим летам и сердечно был ко мне привержен. До самой кончины своей он почти каждый день со мною виделся, дорожа простою моею беседою, хотя ни привычками, ни образом мыслей, ни нравом мы большею частию друг с другом не сходствовали.

Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случалось мне видеть его навеселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почтеться может); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая¹.

Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частью у меня находятся, частью употреблены его ключницею на разные домашние потребности. Таким образом прошлую зиму все окна ее флигеля заклеены были первою частию романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большею частию справедливы и слышаны им от разных особ². Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим, а названия сел и деревень заимствованы из нашего околотка, отчего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения.

Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудною лихорадкою, обратившейся в горячку, и умер, несмотря на неусыпные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней,

¹ Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем, уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает.

² В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестью рукой автора надписано: слышано мною от *такой-то особы* (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей. «Смотритель» рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., «Выстрел» подполковником И. Л. П., «Гробовщик» приказчиком Б. В., «Метель» и «Барышня» девицею К. И. Т.

как-то мозолей и тому подобного. Он скончался на моих руках на 30-м году от рождения и похоронен в церкви села Горюхина близ покойных его родителей.

Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волоса русые, нос прямой; лицом был бел и худощав.

Вот, милостивый государь мой, все, что мог я припомнить касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля моего. Но в случае, если заблагорассудите сделать из сего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать; ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным. С истинным моим почтением и проч.

1830 году ноября 16.

Село Ненарадово

Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставленные нам известия и надеемся, что публика оценит их искренность и добродушие.

А. П.

ВЫСТРЕЛ

Стрелялись мы.

Баратынский.

Я поклялся застрелить его
по праву дуэли (за ним
остался еще мой выстрел).

Вечер на бивуаке.

I

Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.

Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сюртуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большею частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скажинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было невероятно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчаст-

ная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.

Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяйина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтеру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему; но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнил счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти, и благодарите бога, что это случилось у меня в доме».

Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банку. Игра продолжалась еще несколько минут; но, чувствуя, что хозяйину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии.

На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился.

Это бы чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние.

Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде сего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня; по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностию. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему; мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мере я заметил раза два в нем желание со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились.

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто

ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подал ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа, — сказал им Сильвио, — обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас, — продолжал он, обратившись ко мне, — жду непременно». С сим словом он поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.

Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено; оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общою; пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рта, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание.

— Может быть, мы никогда больше не увидимся, — сказал он мне, — перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение; но я вас люблю, и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление.

Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я молчал, потупя глаза.

— Вам было странно, — продолжал он, — что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р***. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его.

Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал.

— Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив.

Любопытство мое сильно было возбуждено.

— Вы с ним не дрались? — спросил я. — Обстоятельства, верно, вас разлучили?

— Я с ним дрался, — отвечал Сильвио, — и вот памятник нашего поединка.

Сильвио встал и вынул из картонной шапки с золотою кистью, с галуном (то, что французы называют *bonnet de police*¹) он ее надел; она была прострелена на верхок ото лба.

— Вы знаете, — продолжал Сильвио, — что я служил в *** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолodu это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буйном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня как на необходимое зло.

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не

¹ Полицейская шапка (офицерская фуражка формы пилотки) (фр.)

встречал счастливец столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружелюбия; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих и которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил, а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже напевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундantom. Мы пошли к нему навстречу. Он приблизился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому: но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очердеть была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства... Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти, — сказал я ему, — вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать». — «Вы ничуть не мешаете мне, — возразил он, — извольте себе стрелять, а впрочем, как вам угодно: выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундantom, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.

Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой настал...

Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что *известная особа* скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.

— Вы догадываетесь, — сказал Сильвио, — кто эта *известная особа*. Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!

При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно; странные, противоположные чувства волновали меня.

Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку; мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.

II

Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Н*** уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько вздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее

было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения; но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафом и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кириловна, были мне пересказаны; песни баб навели на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова; да признаюсь, побоялся я сделаться *пьяницею с горя*, то есть самым *горьким* пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех *горьких*, коих беседа состояла большею частию в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее.

В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б***; но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца.

Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяце два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало; я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село*** рекомендоваться их сиятельству, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга.

Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможною роскошью; около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным; я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость; я уже начал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня; я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтоб дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую.

— Вот хороший выстрел, — сказал я, обращаясь к графу.

— Да, — отвечал он, — выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете? — продолжал он.

— Изрядно, — отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета, мне близкого. — В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется из знакомых пистолетов.

— Право? — сказала графиня, с видом большой внимательности, — а ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?

— Когда-нибудь, — отвечал граф, — мы попробуем. В свое время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета.

— О, — заметил я, — в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в двадцати шагах: пистолет требует ежедневного упражнения.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ 1814 — 1822

ЛИЦЕЙСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, ПЕЧАТАВШИЕСЯ ПУШКИНЫМ В ПОЗДНЕЙШИЕ ГОДЫ

Воспоминания в Царском Селе	5
Лицинию	8
Старик	10
Роза	10
Гроб Анакреона	10
Певец	11
К Морфею	11
Друзьям («Богами вам еще даны...»)	11
Амур и Гименей	12
Шишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой...»)	13
Пробуждение («Мечты, мечты...»)	13
Любопытный («— Что ж нового? «Ей-богу, ничего»)	14
Дельвигу («Любовью, дружеством и ленью...»)	14
К Каверину («Забудь, любезный мой Каверин...»)	15
В. Л. Пушкину («Что восхитительней, живей...»)	15
Разлука («В последний раз, в сени уединенья...»)	15

СТИХОТВОРЕНИЯ 1817—1822

1817 (после Лицея)

«Простите, верные дубравы!...»	16
К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего сада	16
Тургеневу («Тургенев, верный покровитель...»)	17
К*** («Не спрашивай, зачем унылой думой...»)	18
«Краев чужих неопытный любитель...»	18
К ней («В печальной праздности я лиру забывал...»)	18
Вольность. <i>Ода</i>	19
Кривову («Не пугай нас, милый друг...»)	21
«Есть в России город Луга...»	21

1818

Торжество Вахха	21
Кн. Голицыной, посылая ей оду «Вольность»	23
«Когда сожмешь ты снова руку...»	23
Выздоровление	24
Жуковскому («Когда, к мечтательному миру...»)	24
К портрету Жуковского	25
Мечтателю («Ты в страсти горестной находишь наслажденье...»)	25
К Н. Я. Плюсковой («На лире скромной, благородной...»)	25
Сказки. Ноёл («Ура! в Россию скачет...»)	26
Прелестнице	26
К Чаадаеву («Любви, надежды, тихой славы...»)	27
На Карамзина («В его «Истории» изящность, простота...»)	27
На Каченовского («Бессмертною рукою раздавленный зоил...»)	27
«Послушай, дедушка, мне каждый раз...»	28
История стихотворца	28

1819

О. Массон («Ольга, крестница Киприды...»)	28
Дорида («В Дориде нравятся и локоны златые...»)	28
N. N. (В. В. Энгельгардту) («Я ускользнул от Эскулапа...»)	29
Орлову («О ты, который сочетал...»)	29
К Шербинину («Житье тому, любезный друг...»)	30
Деревня	31
Домовому	32
Русалка	32
Недоконченная картина	34
Уединение	34
Веселый пир	34
Лиле	34
Всеволожскому («Прости, счастливый сын пиров...»)	34
Платоническая любовь	36

Стансы Толстому («Философ ранний, ты бежишь...»)	37
Возрождение	37
Послание к кн. Горчакову («Питомец мод, большого света друг...»)	37
Добрый человек	38
К портрету Дельвига	38
На Стурдзу («Холоп венчанного солдата...»)	39
Мадригал М...ой	39
Именины	39
К А. Б***	39
В альбом Сосницкой	39
Бакуниной	39
На Колосову («Все пленяет нас в Эсфире...»)	39
Записка к Жуковскому («Раевский, <i>молодец</i> прежний...»)	39
«За ужином объелся я...»	40

1820

Дориде («Я верю: я любим; для сердца нужно верить...»)	40
«Мне бой знаком — люблю я звук мечей...»	40
Ты и я	40
Добрый совет	41
Юрьеву («Любимец ветреных Лаис...»)	41
«Увы! зачем она блистает...»	42
К *** («Зачем безвременную скуку...»)	42
«Мне вас не жаль, года весны моей...»	42
«Погасло дневное светило...»	43
Дочери Карагеоргия	43
Черная шаль	44
Нереида	45
«Редет облаков летучая гряда...»	45
К портрету Чаадаева («Он пышной волею небес...»)	45
К портрету Вяземского («Судьба свои дары явить желала в нем...»)	45
На Аракчеева («Всей России притеснитель...»)	45
Записка к Жуковскому («Штабс-капитану, Гёте, Грею...»)	46
«Аптеку позабудь ты для венков лавровых...»	46
«Когда б писать ты начал сдуру...»	46
На Каченовского («Хавронис! ругатель закоснелый...»)	46
«Как брань тебе не надоела?...»	46
Эпиграмма (На гр. Ф. И. Толстого) («В жизни мрачной и презренной...»)	46

1821

Земля и море	47
Красавица перед зеркалом	47
Муза	47
«Я пережил свои желанья...»	47
Война	48
Дельвигу («Друг Дельвиг, мой парнасский брат...»)	48
Из письма к Гнедичу («В стране, где Юлией венчанный...»)	49
Кинжал	50
В. Л. Давыдову («Меж тем как генерал Орлов...»)	50
Дева	52
Катенину («Кто мне пришлет ее портрет...»)	52
Чаадаеву («В стране, где я забыл тревоги прежних лет...»)	52
«Кто видел край, где роскошью природы...»	54
Дионея	54
«Вот муза, резвая болтунья...»	55
Генералу Пушкину («В дыму, в крови, сквозь тучи стрел...»)	55
«Умолкну скоро я!.. Но если в день печали...»	55
«Мой друг, забыты мной следы минувших лет...»	55
Гроб юноши («..... Сокрылся он...»)	56
Наполеон («Чудесный жребий совершился...»)	57
«Гречанка верная! не плачь — он пал героем...»	59
К Овидию	60
Приметы	62
Кокетке	62
Прятелю	63
Алексееву («Мой милый, как несправедливы...»)	63
«В твою светлицу, друг мой нежный...»	64
Десятая заповедь	64
«Князь Г. со мною не знаком...»	65
Христос воскрес	65
Эпиграмма («Хоть, впрочем, он поэт изрядный...»)	65
Эпиграмма («Лечись — иль быть тебе Панглосом...»)	65
«Таларашка в вас влюблен...»	65
На Каченовского («Клеветник без дарованья...»)	65

1822

Баратынскому. Из Бессарабии («Сия пустынная страна...»)	66
Друзьям («Вчера был день разлуки шумной...»)	66
Песнь о вешем Олеге	66
«Люблю ваш сумрак неизвестный...»	69
Гречанке	69
Из письма к Я. Н. Толстому («Горишь ли ты, лампада наша...»)	70
Послание цензору («Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой...»)	70
Иностранке	73
«Наперсница волшебной старины...»	73
Ф. Н. Глинке («Когда средь оргий жизни шумной...»)	74
«Недавно я в часы свободы...»	74
Адели («Играй, Адель...»)	74
Узник	75
Баратынскому («Я жду обещанной тетради...»)	75
На А. А. Давыдову («Иной имел мою Аглаю...»)	75
«У Кларисы денег мало...»	75

РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕЗАВЕРШЕННОЕ, ОТРЫВКИ, НАБРОСКИ**1813**

К Наталье («Так и мне узнать случилось...»)	76
Несчастье Клита	78
Двум Александрам Павловичам	78

1814

К другу стихотворцу	78
Кольца (Подражание Оссиану)	80
Эвлега	83
Остар	84
Рассудок и любовь	86
К сестре	86
Красавице, которая нюхала табак	89
Эпиграмма («Арист нам обещал трагедию такую...»)	90
Казак	90
Князю А. М. Горчакову («Пускай, не знаясь с Аполлоном...»)	91
Опытность	92
Блаженство	93
Лаиса Венере, посвящая ей свое зеркало	94
К Наташе («Вянет, вянет лето красно...»)	95
К студентам	95
К Батюшкову («Философ резвый и пит...»)	97
Эпиграмма (Подражание французскому) («Супругою твоей я так пленился...»)	98
К Н. Г. Ломоносову	98
На Рыбушкина	99
Романс	99
Леда (Кантата)	100
На Пучкову («Пучкова, право, не смешна...»)	101
Гараль и Гальвина	102
Исповедь бедного стихотворца	103

1815

Городок (К***)	106
Вода и вино	114
Измены	114
Батюшкову («В пещерах Геликона...»)	116
Наполеон на Эльбе (1815)	116
К Пушкину (4 мая) («Любезный именник...»)	118
К Галичу («Когда печальный стихотвор...»)	119
Мечтатель («По небу крадется луна...»)	120
Мое завешание. Друзьям	122
К ней («Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку...»)	123
К молодой актрисе	124
Воспоминание (К Пушкину)	125
Послание к Галичу («Где ты, ленивец мой?..»)	126
Моя эпитафия	128
Сраженный рыцарь	128
К Дельвигу (Ответ) («Послушай, муз невинных...»)	129
На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году	130
«Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался...»	132
Слеза	132
«Угрюмых тройка есть певцов...»	133
К бар. М. А. Дельвиг	133
Моему Аристарху	133

Тень Фонвизина	136
Послание к Юдину	142
К живописцу	146
«Известно буди всем, кто только ходит к нам...»	146
Вишня	147

1816

К Маше («Вчера мне Маша приказала...»)	149
«Заутра с свечкой грошевою...»	149
Усы. Философическая ода	149
Из письма к кн. П. А. Вяземскому («Блажен, кто в шуме городском...»)	150
Из письма к В. Л. Пушкину («Христос воскрес, питомец Феба!..»)	150
Принцу Оранскому	151
Сон (Отрывок)	151
Экспромт на Огареву («В молчанье пред тобой сажу...»)	156
Окно	156
К Жуковскому («Благослови, поэт!.. В тиши парнасской сени...»)	156
Осеннее утро	159
Уныние («Мой милый друг! расстался я с тобою...»)	159
Истина	159
На Пучкову («Зачем кричишь ты, что ты <i>дева</i> ...»)	160
Дяде, назвавшему сочинителя братом	160
Наездники	160
Элегия («Счастлив, кто в страсти сам себе...»)	161
Месяц	161
Слово милой	162
«Любовь одна — веселье жизни холодной...»	162
Подражание («Я видел смерть; она сидела...»)	163
Желание	164
Элегия («Я думал, что любовь погасла навсегда...»)	164
Наслажденье	164
Здравный кубок	165
Послание Лиде («Тебе, наперница Венеры...»)	166
Фиал Анакреона	167
Делия («Ты ль передо мною...»)	168
Фавн и пастушка. Картины	168
«Больны вы, дядюшка? Нет мочи...»	173
Надпись к беседе	173
«Вот Виля — он любовью дышит...»	173
На гр. А. К. Разумовского	173
На Баболовский дворец	173
Твой и мой	173
К Делии («О Делия, драгая!..»)	173
«Тошней идиллии и холодной, чем ода...»	174
Погреб	174
Сравнение	175
Эпиграмма (На Карамзина) («Послушайте: я сказку вам начну...»)	175
Завещание Кюхельбекера	175
Куплеты. На слова «С позволения сказать»	175
«Боже! царя храни!..»	176

1817

Элегия («Опять я ваш, о юные друзья!..»)	176
К молодой вдове	177
Безверие	178
Стансы (Из Вольтера) («Ты мне велишь пылать душою...»)	179
Письмо к Лиде («Лишь благосклонный мрак раскинет...»)	180
Князю А. М. Горчакову («Встречаюсь я с осьмнадцатой весной...»)	180
В альбом («Когда погаснут дни мечтанья!..»)	182
В альбом Илличевскому	182
Прощанье	182
Надпись на стене больницы	183
В альбом Пушкину	183
К портрету Каверина («В нем пунша и войны кипит всегдашний жар...»)	183
К письму	184
Сновидение	184
Она	184
«От всенощной вечер идя домой...»	184
« <i>Пожарский, Минин, Гермоген</i> ...»	184
Эпиграмма на смерть стихотворца	185
Портрет («Вот карапузик наш, монах...»)	185
«Я сам в себе уверен...»	185
«И останешься с вопросом...»	185

1817 (после лица)

«Не угрожай ленивцу молодому...»	185
«Венец желаниям! Итак, я вижу вас...»	185
«Писать я не умею...»	186
Кн. П. А. Вяземскому («Зачем, забывши славу...»)	186

1818

«Могущий бог садов — паду перед тобой...»	186
«Дубравы, где в тиши свободы...»	186
К*** («Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный...»)	187
«И я слышал, что божий свет...»	187
«Как сладостно!.. но, боги, как опасно...»	187
Колосовой («О ты, надежда нашей сцены!..»)	187

1819

«Милый мой, сегодня...»	188
«Лаиса, я люблю твой смелый, вольный взор...»	188
«За старые грехи наказанный судьбой...»	188
Послание к А. И. Тургеневу («В себе все блага заключаю...»)	188
Элегия («Вспоминаю упоенный...»)	188
27 мая 1819	188
Мансурову («Мансуров, закадычный друг...»)	189
«Позволь душе моей открыться пред тобою...»	189
«Нет, нет, напрасны ваши пени...»	189
На Стурдзу («Вкруг я Стурдзы хожу...»)	190
Юрьеву («Здорово, Юрьев именник!..»)	190
Денису Давыдову («Красноречивый забияка...»)	190
«Ты мне велишь открыться пред тобою...»	190
«Там улеска, за ближнею долиной...»	190
«Всё призрак, суета...»	191
«Напрасно, милый друг, я мыслил утаить...»	191
«Оставь, о Лезбия, лампаду...»	191
Баллада («Что ты, девица, грустна...»)	191
На Аракчеева («В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон...»)	192
«Мы добрых граждан позабавим...»	192

1820

Нимфодоре Семеновой («Желал бы быть твоим, Семенова, покровом...»)	192
«Я видел Азии бесплодные пределы...»	192
Про себя	193

1821

«Все так же ль осеняют своды...»	193
«Наперсница моих сердечных дум...»	193
«Я не люблю твоей Корины...»	193
«Теснится средь толпы еврей сребролюбивый...»	194
К моей чернильнице	194
«Раззевавшись от обедни...»	196
«Недавно бедный музьян...»	197
Вяземскому («Язвительный поэт, остряк замысловатый...»)	198
«Эллеферия, пред тобой...»	198
«Примите новую тетрадь...»	198
«О вы, которые любили...»	198
«Если с нежной красотой...»	199
Денису Давыдову («Певец-гусар, ты пел биваки...»)	199
Молдавская песня	199
«В беспечных радостях, в живом очарованье...»	199
«Вдали тех пропастей глубоких...»	200
Из Байрона («Нет ветра—синяя волна...»)	200
Эпиграмма (На А. А. Давыдову) («Оставя честь судьбе на произвол...»)	200

1822

«Чугун кагульский, ты священ...»	200
«Мой друг, уже три дня...»	200
Таврида	201
«Один, один остался я...»	202
В. Ф. Раевскому («Недаром ты ко мне воззвал...»)	202
В. Ф. Раевскому («Не тем горжусь я, мой певец...»)	202
В. Ф. Раевскому («Ты прав, мой друг — напрасно я презрел...»)	202
«На тихих берегах Москвы...»	204
На Ланова	204
«Дай, Никита, мне одеться...»	204

СТИХОТВОРЕНИЯ 1823—1836

1823

Птичка	205
Царское Село	205
«Кто, волны, вас остановил...»	205
Ночь	206
«Завидую тебе, питомец моря смелый...»	206
«Надеждой сладостной младенчески дыша...»	206
Демон	206
«Простишь ли мне ревнивые мечты...»	207
«Свободы сеятель пустынный...»	208
Кн. М. А. Голицыной	208
Телега жизни	208
Жалоба	209

1824

«Недвижный страж дремал на царственном пороге...»	209
«Все кончено: меж нами связи нет...»	210
Давыдову («Нельзя, мой толстый Аристип...»)	211
Прозерпина	211
Из письма к Вульффу («Здравствуй, Вульф, приятель мой!..»)	212
К Языкову («Издrevле сладостный союз...»)	212
Разговор книгопродавца с поэтом	213
К морю	217
Коварность	219
«Одева-роза, я в оковах...»	219
«Туманский прав, когда так верно вас...»	219
Виноград	220
Фонтану Бахчисарайского дворца	220
«Ночной зефир...»	220
«Ненастный день потух; ненастной ночи мгла...»	221
Дружба («Что дружба? Легкий пыл похмелья...»)	221
Подражания Корану	
I. «Клянусь четой и нечетой...»	222
II. «О жены чистые пророка...»	222
III. «Смутясь, нахмурился пророк...»	223
IV. «С тобою древле, о весильный...»	223
V. «Земля недвижна; неба своды...»	224
VI. «Недаром вы приснились мне...»	224
VII. «Восстань, боязливый...»	224
VIII. «Торгуй совестью пред бледной нищетою...»	225
IX. «И путник усталый на Бога роптал...»	225
«Лизе страшно полюбить...»	226
«Ты вянешь и молчишь; печаль тебя сдает...»	226
Чаадаеву («К чему холодные сомненья?»)	226
Аквилон	227
«Пускай увенчанный любовью красоты...»	227
Второе послание к цензору	227
«Тимковский царствовал — и все твердили влух...»	229
«Полу-милорд, полу-купец...»	229
«Певец-Давид был ростом мал...»	229
«Не знаю где, но не у нас...»	229
«Вот Хвостовой покровитель...»	229
«Охотник до журнальной драки...»	230
«Лихой товарищ наших дедов...»	230

1825

Сожженное письмо	230
«Лишь розы увядают...»	230
Ода его сият. гр. Д. И. Хвостову	231
Козлову	232
Желание славы	232
П. А. Осиповой («Быть может, уж недолго мне...»)	233
«Храни меня, мой талисман...»	233
Андрей Шенье	234
К Родзянке («Ты обещал о романтизме...»)	237
К *** («Я помню чудное мгновенье...»)	238
Жених	239
«Если жизнь тебя обманет...»	243
«На небесах печальная луна...»	243
Вакхическая песня	243
Н. Н. («Примите «Невский альманах»...»)	243
Сафо	244

«Цветы последние милей...»	244
19 октября	244
«Всё в жертву памяти твоей...»	247
Сцена из Фауста	247
Зимний вечер	250
«Вертоград моей сестры...»	251
«В крови горит огонь желанья...»	251
Буря	251
«Хотя стишки на именины...»	251
С португальского	252
Из письма к Вяземскому («Сатирик и поэт любовный...»)	253
«О муза пламенной сатиры!..»	253
«Наш друг <i>Фита</i> , Кутейкин в эполетах...»	253
«Сказали раз царю, что наконец...»	254
Друзьям («Враги мои, покамест я ни слова...»)	254
Совет	254
«Напрасно ахнула Европа...»	254
Прозаик и поэт	254
Жив, жив Курилка!	255
Литературное известие	255
Ex ungue leonem	255
«Словесность русская больна...»	255
Соловей и кукушка	255
Движение	256
«Воспитанный под барабаном...»	256
На трагедию гр. Хвостова, изданную с портретом Колосовой	256
«От многоречия отрехшись добровольно...»	256
«Нет ни в чем вам благодати...»	256
1826	
К Баратынскому («Стих каждый в повести твоей...»)	256
К Е. Н. Вульф	257
«Под небом голубым страны своей родной...»	257
К Вяземскому («Так море, древний душегубец...»)	257
К Языкову («Языков, кто тебе внушил...»)	257
Песни о Стеньке Разине	258
1. «Как по Волге-реке, по широкой...»	258
2. «Ходил Стенька Разин...»	258
3. «Что не конский топ, не людская мольвь...»	259
Признание	259
Пророк	260
К. А. Тимашевой	261
Няне	261
«Как счастлив я, когда могу покинуть...»	261
«Каков я прежде был, таков и ныне я...»	262
И. И. Пушкину («Мой первый друг, мой друг бесценный!..»)	262
Стансы («В надежде славы и добра...»)	262
Ответ Ф. Т***	263
Зимняя дорога	263
К** («Ты богоматерь, нет сомненья...»)	264
Мордвинову	264
Золото и булат	264
1827	
«Во глубине сибирских руд...»	265
Соловей и роза	265
«Есть роза дивная: она...»	265
Ек. Н. Ушаковой («Когда, бывало, в старину...»)	265
Княгине З. А. Волконской	266
Ек. Н. Ушаковой («В отдалении от вас...»)	266
«В степи мирской, печальной и безбрежной...»	266
Арион	266
Ангел	267
«Какая ночь! Мороз трескучий...»	267
Кипренскому	268
Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной	268
Поэт	269
«Близ мест, где царствует Венеция златая...»	269
«Всем красны боярские конюшни...»	269
Послание Дельвигу	270
«Блажен в золотом кругу вельмож...»	273
19 октября 1827	273
Талисман	273
Эпиграмма (Из антологии)	274

«Твои догадки — сущий вздор...»	274
Русскому Геснеру	274
1828	
Друзьям («Нет, я не льстец, когда царю...»)	275
Послание к Великопольскому, сочинителю «Сатиры на игроков»	275
«Сто лет минуло, как тевтон...»	276
«Кто знает край, где небо блещет...»	277
В. С. Фильминову при получении поэмы его «Дурацкий колпак»	279
To Dawe, EsQ.	279
Воспоминание	279
Ты и вы	279
«Дар напрасный, дар случайный...»	280
И. В. Слёнину	280
«Еще дуют холодные ветры...»	280
«Кобылица молодая...»	280
Ее глаза	280
«Не пой, красавица, при мне...»	280
К Языкову («К тебе собрался я давно...»)	282
Н. Д. Киселеву	282
Портрет	282
Наперсник	283
«Счастлив, кто избран своенравно...»	283
Предчувствие	283
Утопленник	283
«Рифма, звучная подруга...»	285
«Ворон к ворону летит...»	286
«Город пышный, город бедный...»	287
19 октября 1828	287
«В прохладе сладостной фонтанов...»	287
Анчар	288
Ответ Катенину	289
Ответ А. И. Готовцовой	289
Цветок	289
Поэт и толпа	289
Щербинину	291
«Пожалуй, Федоров, ко мне не приходи...»	291
«Лищинский околед — отечеству беда!...»	291
«Покойник, автор сухошавый...»	291
1829	
Е. Н. Ушаковой («Вы избалованы природой...»)	291
Е. П. Полторацкой	292
«Подъезжая под Ижору...»	292
Приметы («Я ехал к вам: живые сны...»)	292
Эпитафия младенцу	292
«Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?...»	293
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...»	293
Калмычке	293
«Жил на свете рыцарь бедный...»	293
Из Гафиза	295
Олегов щит	295
«Зорю быют... из рук моих...»	295
«Был и я среди донцов...»	296
Дон	296
«Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...»	296
Зимнее утро	297
«Я вас любил: любовь еще, быть может...»	298
Воспоминания в Царском Селе («Воспоминаньями смущенный...»)	298
«Поедем, я готов; куда бы вы, друзья...»	299
«Брожу ли я вдоль улиц шумных...»	300
Кавказ	300
Обвал	301
Монастырь на Казбеке	302
Делибаш	302
«Когда твои молодые лета...»	302
К бюсту завоевателя	303
Эпиграмма («Журналами обиженный жестоко...»)	303
«Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций...»	303
Эпиграмма («Там, где древний Кочерговский...»)	303
«Как сатирой безымянной...»	304
«Счастлив ты в прелестных друзьях...»	304
«Надеясь на мое презренье...»	304
Сапожник (Притча)	304

Эпиграмма («Седой Свистов! ты царствовал со славой...»)	304
Эпиграмма («Мальчишка Фебу гимн поднес...»)	305
Собрание насекомых	305
1830	
Циклоп	305
«Что в имени тебе моем?..»	305
Ответ	306
«В часы забав или праздной скуки...»	306
Сонет	307
К вельможе	307
Новоселье	309
«Когда в объятия мои...»	309
Поэту	310
Мадона	310
Бесы	311
Элегия («Безумных лет угасшее веселье...»)	312
Ответ анониму	312
Труд	313
Царскосельская статуя	313
«Глухой глухого звал к суду судьи глухого...»	313
Дорожные жалобы	313
Прощание	314
Паж, или Пятнадцатый год	314
«Румяный критик мой, насмешник толстопузый...»	315
«Я здесь, Инезилья...»	315
Рифма	316
Отрок	316
Заклинание	316
«Стамбул гяуры нынче славят...»	317
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы	318
Герой	318
«В начале жизни школу помню я...»	320
На перевод Илиады («Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи...»)	321
«Для берегов отчизны дальней...»	321
Отрывок («Не розу пафосскую...»)	321
Из Barry Cornwall	322
«Пред испанкой благородной...»	322
Моя родословная	322
Цыганы («Над лесистыми брегами...»)	324
«Не то беда, что ты поляк...»	325
Эпиграмма («Не то беда, Авдей Флюгарин...»)	325
К переводу Илиады («Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера...»)	325
1831	
«Перед гробницею святой...»	325
Клеветникам России	326
Бородинская годовщина	327
Эхо	328
«Чем чаще празднует лицей...»	329
«Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...»	330
1832	
«И дале мы пошли — и страх обнял меня...»	330
Мальчику (Из Катутлла)	331
В альбом А. О. Смирновой	331
В альбом кж. А. Д. Абамелек	332
Гнедичу («С Гомером долго ты беседовал один...»)	332
Красавица	332
К*** («Нет, нет, не должен я, не смею, не могу...»)	333
В альбом («Гонимый рока самовластьем...»)	333
В альбом («Долго сих листов заветных...»)	333
1833	
(Из Ксенофана Колофонского)	333
(Из Афenea)	334
«Бог веселый винограда...»	334
«Юноша, скромно пируй, и шумную Вакхову влагу...»	334
Вино (Ион Хиосский)	334
Гусар	334
«Французских рифмачей суровый судия...»	337
«Сват Иван, как пить мы станем...»	338
Будрыс и его сыновья	338

Воевода	340
«Когда б не смутное влечение...»	341
«Колокольчики звенят...»	341
Осень (Отрывок)	342
«Не дай мне Бог сойти с ума...»	344

1834

«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...»	345
«Он между нами жил...»	345
Песни западных славян	345
Предисловие	345
1. Видение короля	346
2. Янко Марнавич	348
3. Битва у Зеницы-Великой	349
4. Феодор и Елена	350
5. Влак в Венеции	352
6. Гайдук Хризич	353
7. Похоронная песня Иакинфа Маглановича	354
8. Марко Якубович	354
9. Бонапарт и черногорцы	356
10. Соловей	357
11. Песня о Георгии Черном	358
12. Воевода Милош	359
13. Вурдалак	359
14. Сестра и братья	360
15. Яныш королевич	362
16. Конь	364

1835

(Из Анакреона). Отрывок	365
Ода LVI (Из Анакреона)	365
Ода LVII («Что же сухо в чаше дно?...»)	365
«Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила...»	365
Полководец	365
Туча	367
Из А. Шенье	367
«На Испанию родную...»	367
«Кто из богов мне возвратил...»	370
Странник	371
«...Вновь я посетил...»	372
«Я думал, сердце позабыло...»	373
На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому	374
Пир Петра Первого	375
Подражание арабскому	376
«В Академии наук...»	376

1836

Д. В. Давыдову («Тебе, певцу, тебе, герою!...»)	376
Мирская власть	376
(Подражание итальянскому)	377
(Из Пиндемонти)	377
«Отцы пустынники и жены непорочны...»	377
«Когда за городом, задумчив, я брожу...»	378
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»	378
Художнику	379
Родословная моего героя (Отрывок из сатирической поэмы)	379
«Была пора: наш праздник молодой...»	381
На статую играющего в свайку	383
На статую играющего в бабки	383
«Забыв и рощу и свободу...»	383
«От меня вечер Леила...»	383

НЕЗАВЕРШЕННОЕ, ОТРЫВКИ, НАБРОСКИ**1823**

Из письма к В. П. Горчакову («Зима мне рыхлою стеною...»)	384
Л. Пушкину («Брат милый, отроком расстался ты со мной...»)	384
Члновник и поэт	384
«Внёмли, о Гелиос, серебряным луком звенящий...»	385
М. Е. Эйхфельдт	385
«Сегодня я поутру дома...»	385
Из письма к Вигелю («Проклятый город Кишинев!...»)	385
«Мое беспечное незнанье...»	386
«Бывало, в сладком ослепленье...»	387

«Придет ужасный час... твои небесны очи...»	387
«Как наше сердце своенравно!...»	387
«Туманский, Фебу и Фемиде...»	388
«Мой пленник вовсе не любезен...»	388
«Скажи — не я ль тебя заметил...»	388

1824

Кораблю	388
«Зачем ты послан был и кто тебя послал?..»	388
«О боги мирные полей, дубров и гор...»	389
Графу Олизару	389
Из письма к Плетневу («Ты издал дядю моего...»)	389
«Как жениться задумал царский арап...»	390
«Мне жаль великия жены...»	390
«Пока супруг тебя, красавицу младую...»	390
«Презрев и голос укоризны...»	391
Младенцу	391
Из письма к Родзянке («Прости, украинский мудрец...»)	391
Послание к Л. Пушкину («Что же? будет ли вино?..»)	391
К Сабурову	392
«Приют любви, он вечно полн...»	392
Разговор Фотия с гр. Орловой	392
Гр. Орловой-Чесменской	392
На Фотия	393
«Как узник, Байроном воспетый...»	393
«Слаб и робок человек...»	393
«С перегородкою коморки...»	393

1825

«Твое соседство нам опасно...»	393
Наброски к замыслу о Фаусте	393
«Я был свидетелем золотой твоей весны...»	395
«Блестит луна, недвижно море спит...»	395
«Заступники кнута и плети»	396
«Короче дни, а ночи доле...»	396
Начало I песни «Девственницы»	396
«Под каким созвездием...»	397
«Что с тобой, скажи мне, братец?..»	397
Из письма к Вяземскому («В глуши, измучась жизнью постной...»)	397
«Семейственной любви и нежной дружбы ради...»	398
«Брови царь нахмуря...»	398
Анне Н. Вульф («Увы! напрасно деве гордой...»)	398
«Играй, прелестное дитя...»	398
«Он вежлив был в иных прихожих...»	398
«Скажи мне, ночь, зачем твой тихий мрак...»	399
Кюхельбекеру («Да сохранит тебя твой добрый гений...»)	399
«В пещере тайной, в день гоненья...»	399
«Расходились по поганскому граду...»	399
Элегия на смерть Анны Львовны	399

1826

Из письма к Великопольскому	399
Из Ариостова «Orlando furioso»	400
«Кристалл, поэтом обновленный...»	402
«Будь подобен полной чаше...»	403
Из письма к Соболевскому («У Гальяни иль Кольони...»)	403
Из письма к Алексею («Прощай, отшельник бессарабской...»)	404
«Восстань, восстань, пророк России...»	404
«Там на берегу, где дремлет лес священный...»	404
«Что-то грезит Баратынский...»	404
Нравоучительные четверостишия	404
Кнж. Урусовой	406

1827

«Весна, весна, пора любви...»	406
«О ты, который сочел...»	406
Из Alfieri	406
«В роще карийской, любезной ловцам, таится пещера...»	407
«Я знаю край: там на берега...»	407
В альбом Павлу Вяземскому	407
Репутация г-на Беранжера	407
«Сводня грустно за столом...»	408
Эпиграмма на Шаликова	410

1828

«Увы! Язык любви болтливой...»	410
Из альбома А. П. Керн	411
«Уродился я, бедный недоносок...»	411
«Брадатый староста Авдей...»	411
«За Netty сердцем я летаю...»	412
«Как быстро в поле, вокруг открытом...»	412
«Но ты забудь меня, мой друг...»	412
«Волнением жизни утомленный...»	412
«В рюмке светлой предо мною...»	412
«А в ненастные дни...»	412
В. Л. Пушкину («Любезнейший наш друг, о ты, Василий Львович!...»)	413

1829

Фазиль-хану	413
«Критон, роскошный гражданин...»	413
На картинки к «Евгению Онегину» в «Невском альманахе»	413
«Опять увенчаны мы славой...»	414
«Восстань, о Греция, восстань...»	414
«В журнал совсем не европейский...»	414
Мёдок (Мёдок в у́ллах)	414
«Стрекотуня белобочка...»	415
«Зачем, Елена, так пугливо...»	415
«Еще одной высокой, важной песни...»	415
«Меж горных стен несется Терек...»	416
«И вот ущелье мрачных скал...»	416
«Страшно и скучно...»	416
«О сколько нам открытий чудных...»	417

1830

«Шумит кустарник... На утес...»	417
«Два чувства дивно близки нам...»	417
Дельвигу («Мы рождены, мой брат названный...»)	417
«Когда порой воспоминанье...»	418
«Полюбуйтесь же вы, дети...»	419
«Когда Потемкину в потемках...»	419
«Одни стихи ему читала...»	419
«...В пустыне...»	419
«Тому одно, одно мгновенье...»	419
«...строгий свет...»	419
«Надо мной в лазури ясной...»	420

1831

Из письма к Вяземскому («Любезный Вяземский, поэт и камергер...»)	420
Из письма к А. О. Россет («От вас узнал я плен Варшавы...»)	420
«Так старый хрыч, пыган Илья...»	420
«Ну, послушайте, дети: жил-был в старые годы...»	420

1832

«Я ехал в дальные края...»	420
----------------------------	-----

1833

«Царей потомок Меценат...»	420
«В поле чистом серебрится...»	420
«Чу, пушки грянули! крылатых кораблей...»	421
Плетневу («Ты хочешь, мой наперсник строгой...»)	421
«Зачем я ею очарован?...»	422
«В голубом небесном поле...»	422
«Толпа глухая...»	422
«Надо помянуть, непременно помянуть надо...»	422

1834

«Я возмужал среди печальных бурь...»	424
«Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя...»	424
«Стою печален на кладбище...»	424
Надпись к воротам Екатеринбургa	425

1835

«Что белеется на горе зеленой?...»	425
«Менко Вуич грамоту пишет...»	425
Плетневу («Ты мне советуешь, Плетнев любезный...»)	426
«Вы за «Онегина» советуете, други...»	426
«В мои осенние досуги...»	426
«О бедность! затвердил я наконец...»	426

«Если ехать вам случится...»	427
«На это скажут мне с улыбкою неверной...»	427
Родриг	428
«Не видала ль, девица...»	428
«К кастрату раз пришел скрыпач...»	429
«То было вскоре после боя...»	429
«Как редко плату получает...»	429
«Плывет корабль, как лебедь громовержец...»	429
«Развратник, радуясь, клеветает...»	429
«Не вижу я твоих очей...»	429

1836

«Напрасно я бегу к сионским высотам...»	429
«От западных морей до самых врат восточных...»	430
«Ценитель умственных творений исполинских...»	430
«Альфонс садится на коня...»	430
«Ты просвещением свой разум осветил...»	431
«О нет, мне жизнь не надоела...»	431
«Друг сердечный мне намеренно говорил...»	431
«Конечно, презирать не трудно...»	432
«Воды глубокие...»	432
«Сей белокаменный фонтан...»	432
«Еще в ребячестве, бессмысленный и злой...»	432
«Когда так нежно, так сердечно...»	432
Из письма к Яковлеву («Смирдин меня в беду поверг...»)	433
«Коль ты к Смирдину войдешь...»	433
Канон в честь М. И. Глинки	433

ПОЭМЫ И СКАЗКИ

ПОЭМЫ

Руслан и Людмила	434
Кавказский пленник	488
Гавриилиада	505
Братья-разбойники	516
Бахчисарайский фонтан	521
Цыганы	532
Граф Нулин	547
Полтава	554
Тазит	587
Домик в Коломне	593
Анджело	601
Медный всадник	616

СКАЗКИ

Сказка о попе и о работнике его Балде	627
Сказка о медведихе	630
Сказка о царе Салтане	632
Сказка о рыбаке и рыбке	651
Сказка о мертвой царевне	655
Сказка о золотом петушке	665

НЕЗАВЕРШЕННОЕ, ПЛАНЫ, ОТРЫВКИ, НАБРОСКИ

Поэмы

Монах	670
Бова	678
Исповедь	683
Поэма о гетеристах (Иордаки)	684
Актеон	684
Вадим	685
Бова	689
Мстислав	690
Агасфер	691
Кирджали	692
Казачка и черкес	692
Езерский	692
Юдифь	697

Сказки

Царь Никита и сорок его дочерей	698
«Иван-царевич по лесам...»	698
«В славной в Муромской земле...»	698
«Царь увидел пред собою...»	699
Отрывок плана и текста сказки о Бове-королевиче	699

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН	700
-----------------------------	-----

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Борис Годунов	818
Скупой рыцарь	873
Моцарт и Сальери	885
Каменный гость	891
Пир во время чумы	912
Русалка	918
Сцены из рыцарских времен	933

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ

Арап Петра Великого	943
ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА	960
От издателя	960
Выстрел	962
Метель	968
Гробовщик	974
Станционный смотритель	978
Барышня-крестьянка	984
История села Горюхина	993
Рославлев	1001
Дубровский	1007
Пиковая дама	1046
Кирджали	1060
Египетские ночи	1063
Капитанская дочка	1071
Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года	1130

ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВА

История Пугачева	1155
Замечания о бунте	1198